

ЭРИХ МАРИЯ
РЕМАРК

✧
Возвращение
✧



✧ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✧

Эрих Мария Ремарк

Возвращение

«АСТ»

1931

УДК 821.112.2-31
ББК 84 (4Гем)-44

Ремарк Э.

Возвращение / Э. Ремарк — «АСТ», 1931

ISBN 978-5-17-081690-3

Старая, старая песня: «Когда ты вернешься домой, солдат...» И что тогда? А тогда – страна в развалинах. А тогда – нищета, кризис, отчаяние одних – и исступленное, истерическое веселье других. И – деньги, деньги. Где взять денег? Любовь? Вы издеваетесь! Порядочность? Устаревшее слово! Каждый сам за себя. Каждый выживает в одиночку...

УДК 821.112.2-31

ББК 84 (4Гем)-44

ISBN 978-5-17-081690-3

© Ремарк Э., 1931

© АСТ, 1931

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Вступление | 6 |
| Часть первая | 15 |
| I | 16 |
| II | 20 |
| III | 26 |
| Часть вторая | 32 |
| I | 32 |
| II | 36 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 45 |

Эрих Мария Ремарк

Возвращение

© The Estate of the Late Paulette Remarque, 1931

© Издание на русском языке AST Publishers, 2015

Вступление

Остатки второго взвода лежат в расстрелянном окопе за линией огня и не то спят, не то бодрствуют.

– Вот так чудные снаряды! – говорит Юпп.

– А что такое?! – спрашивает Фердинанд Козоле, приподнимаясь.

– Да ты послушай, – откликается Юпп.

Козоле прикладывает ладонь к уху. И все мы вслушиваемся в ночь. Но ничего, кроме глухого гула артиллерийского огня и тонкого посвиста снарядов, не слышно. Только справа доносится стрекотня пулеметов да время от времени – одиночный крик. Но нам все это давным-давно знакомо, и не из-за чего тут рот разевать.

Козоле скептически смотрит на Юппа.

– Сейчас-то вот не слышно, – смущенно оправдывается тот.

Козоле снова критически оглядывает его, но так как на Юппа это не действует, он отворачивается и брзжит:

– В брюхе у тебя урчит от голода – вот твои снаряды. Всхрапнул бы, больше б толку было.

Он сбивает себе из земли нечто вроде изголовья и осторожно укладывается так, чтобы ноги не соскользнули в воду.

– Эх, черт, а дома-то жена и двуспальная кровать, – бормочет он уже сквозь сон.

– Кто-нибудь, верно, лежит там рядышком, – изрекает Юпп из своего угла.

Козоле открывает один глаз и бросает на Юппа пронзительный взгляд. Похоже, что он собирается встать. Но он только рычит:

– Не советовал бы я ей, сыч ты рейнский!

И тотчас же раздается его храп.

Юпп знаком подзывает меня к себе. Я перелезаю через сапог Адольфа Бетке и подсаживаюсь к Юппу.

Опасливо взглянув на храпящего, он говорит с ехидством:

– У таких, как он, ни малейшего представления об образованности, уверяю тебя.

До войны Юпп служил в Кёльне письмоводителем у какого-то адвоката. И хоть он уже три года солдат, но все еще сохраняет тонкость чувств и почему-то стремится прослыть здесь, на фронте, образованным человеком. Что, в сущности, это значит, он, конечно, и сам не знает, но из всего слышанного им раньше у него крепко засело в голове слово «образованность», и он цепляется за него, как утопающий за соломинку. Впрочем, здесь у каждого есть что-нибудь в этом роде: у одного – жена, у другого – торговлишка, у третьего – сапоги, у Валентина Лагера – водка, а у Тьядена – желание еще хоть раз в жизни наесться бобов с салом.

Козоле же при слове «образованность» сразу выходит из себя. Оно каким-то образом ассоциируется у него с крахмальным воротничком, а этого уже достаточно. Даже теперь оно оказывает свое действие. Не прерывая храпа, он немногословно высказывается:

– Козел вонючий, чернильная душа!

Юпп философски, с сознанием собственного достоинства, покачивает головой. Некоторое время мы сидим молча, тесно прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Ночь сырая и холодная, несутся тучи, и порой накрапывает дождь. Тогда мы вытаскиваем из-под себя плащ-палатки, которые служат нам обычно подстилкой, и укрываемся ими с головой.

Горизонт светлеет от вспышек артиллерийского огня. Свет радует глаз, и кажется, там не так холодно, как здесь. Над орудийными зарницами взвиваются ракеты, рассыпаясь пестрыми и серебряными цветами. Огромная красная луна плывет в тумане над развалинами фермы.

– Это правда, что нас отпустят по домам? – шепчет Юпп. – Как ты думаешь?

Я пожимаю плечами:

– Не знаю. Говорят...

Юпп громко вздыхает:

– Теплая комната, диван, а вечером выходишь погулять... Просто и не верится, что такое бывает. Верно, а?

– Когда я в последний раз был в отпуске, я примерял свой штатский костюм, – задумчиво говорю я. – Я из него здорово вырос. Придется все шить заново.

Как чудно звучат здесь слова: штатский костюм, диван, вечер... Странные мысли приходят в голову... Точно черный кофе, который подчас слишком уж сильно отдает жестью и ржавчиной; ты пьешь его и давишься, и тебя тут же рвет горячим.

Юпп мечтательно ковыряет в носу:

– Нет, ты подумай только: витрины... кафе... женщины...

– Эх, парень, выберись сначала из этого дерьма, и то хорошо будет, – говорю я и дышу на озябшие руки.

– Твоя правда.

Юпп натягивает плащ-палатку на худые искривленные плечи:

– Ты что собираешься делать, когда вернешься?

Я смеюсь:

– Я-то? Придется, пожалуй, снова поступить в школу. И мне, и Вилли, и Альберту, и даже вон тому, Людвигу.

И я показываю головой назад, где перед разбитым блиндажом лежит под двумя шинелями темная фигура.

– Вот черт! Но вы, конечно, плюнете на это дело? – говорит Юпп.

– Почему я знаю? Может, и нельзя будет плюнуть, – отвечаю я и, сам не понимая отчего, начинаю злиться.

Человек под шинелями шевелится. Показывается бледное худое лицо; больной тихо стонет. Это мой школьный товарищ, лейтенант Людвиг Брайер, командир нашего взвода. Вот уже несколько недель, как он страдает кровавым поносом. У него, безусловно, дизентерия, но в лазарет Людвиг ни за что не хочет. Он предпочитает оставаться с нами, так как мы с минуты на минуту ждем заключения мира, и тогда мы без всякой канители возьмем Людвига с собой. Лазареты переполнены, на больных никто по-настоящему не обращает внимания, и попасть на такую койку – значит сразу же оказаться одной ногой в могиле. Когда вокруг тебя подымают люди и ты среди них один – это заражает: не успеешь оглянуться, как уж и тебя прихватило. Макс Вайль, наш санитар, достал Брайеру нечто вроде жидкого гипса: Брайер ломает гипс, чтобы процементировать кишки и укрепить желудок. И все-таки ему приходится раз двадцать – тридцать на день спускать штаны.

Вот и теперь ему приспичило. Я помогаю ему пройти за угол, и он опускается на корточки.

Юпп машет мне рукой:

– Слышишь? Вот опять...

– Что?

– Да те самые снаряды...

Козоле шевелится и зевает. Затем встает, многозначительно поглядывает на свой тяжелый кулак, косится на Юппа и заявляет:

– Слушай, если ты нас опять разыгрываешь, то приготовь на всякий случай мешок из-под картошки: как бы тебе не пришлось отправлять домой посылочку из собственных костей.

Мы прислушиваемся. Шипение и свист снарядов, описывающих невидимые круги, прерывается каким-то странным звуком, хриплым, протяжным и таким непривычным, таким новым, что меня мороз по коже продирает.

– Газовые бомбы! – кричит Вилли Хомайер и вскакивает.

У нас мигом исчезает сонливость, и мы напряженно вслушиваемся.

Веслинг показывает на небо:

– Вот что это! Дикие гуси!

На фоне унылых серых облаков вырисовывается темная черта, клин. Вершина его приближается к луне, перерезает красный диск, – ясно видны черные тени, угол, образуемый множеством крыльев, целый караван, летящий с диким гортанным призывным клекотом, малопомалу теряющийся вдали.

– Улетают... – ворчит Вилли. – Эх, черт! Вот если бы нам так можно было: два крыла, и – фьють!

Генрих Веслинг следит за полетом гусей.

– Значит, зима скоро, – медленно говорит он. Веслинг – крестьянин, он знает всякие такие вещи.

Людвиг Брайер, ослабевший и грустный, прислонился к насыпи и чуть слышно бормочет:

– В первый раз вижу...

Но больше всех вдруг оживляется Козоле. Он просит Веслинга в двух словах сообщить ему все, что тому известно о диких гусях, и главным образом интересуется их размером: такие ли они крупные, как откормленные домашние гуси.

– Примерно, – отвечает Веслинг.

– Ах ты, черт! – У Козоле от возбуждения трясутся челюсти. – Значит, сейчас по воздуху летят пятнадцать – двадцать великолепных жарких!

Снова низко над нашими головами хлопают крылья, снова хриплый гортанный клекот, точно ястреб, ударяет нас в самое темя, – и вот уже всплески крыльев сливаются с протяжным криком птиц и порывами крепчающего ветра, рождая одну неотступную мысль – о воле, о жизни.

Щелкает затвор. Козоле опускает винтовку и напряженно всматривается в небо. Он целится в самую середину летящего клина. Рядом с Козоле стоит Тьяден, готовый, как гончая, сорваться с места, если упадет гусь. Но стоя не разомкнувшись летит дальше.

– Жаль, – говорит Адольф Бетке. – Это был бы первый путный выстрел за всю эту вшивую войну.

Козоле с досадой швыряет винтовку:

– Эх, иметь бы хоть немного дробь!

Он погружается в меланхолические мечты о том, что было бы тогда, и машинально жует.

– Да, да, – говорит Юпп, глядя на него, – с яблочным муссом и жареной картошечкой...

Неплохо, а?

Козоле смотрит на него с ненавистью:

– Заткнись ты, чернильная душа!

– А зря ты в летчики не пошел, Козоле. Ты бы их теперь сеткой половил, – зубоскалит Юпп.

– Идиот, – обрывает его Козоле и бросается наземь, опять собираясь соснуть.

Это и вправду самое лучшее. Дождь усиливается. Мы садимся спиной к спине и укрываемся плащ-палатками. Точно темные кучи земли, торчим мы в нашем окопе. Земля, шинель, и под ней – тлеющий огонек жизни.

Резкий шепот будит меня:

– Живей, живей!..

– Что случилось? – спрашиваю я спросонок.

– Нас посылают на передовую, – ворчит Козоле, поспешно собирая свои вещи.

– Но ведь мы только что оттуда, – удивленно говорю я.

– А черт их разберет, – ругается Веслинг. – Война ведь как будто кончена.

– Вперед! Вперед!

Сам Хеель, командир роты, подгоняет нас. Нетерпеливо носится он по окопу. Людвиг Брайер уже на ногах.

– Ничего не поделаешь, надо идти, – говорит он покорно и запасается ручными гранатами.

Адольф Бетке смотрит на него.

– Оставайся-ка здесь, Людвиг, – говорит он. – Нельзя с таким поносом на передовую.

Брайер мотает головой.

Ремни поскрипывают, винтовки щелкают, и от земли опять вдруг поднимается гнилостный запах смерти. Нам казалось, что мы навсегда избавились от него: высоко взвившейся ракетой засияла мысль о мире, и хотя мы еще не успели поверить в нее, освоить ее, но и одной надежды было достаточно, чтобы немногие минуты, которые потребовались рассказчику, принесшему добрую весть, потрясли нас больше, чем предыдущие двадцать месяцев. Один год войны наслаивался на другой, один год безнадежности присоединялся к другому, и когда мы подсчитывали эти месяцы и годы, мы не знали, чему больше изумляться: тому ли, что уже столько или что всего-навсего столько времени прошло. А с тех пор как мы знаем, что мир не за горами, каждый час кажется в тысячу раз тяжелее и каждая минута в огне тянется едва ли не мучительнее и дольше, чем вся война.

Ветер мяукает в остатках бруствера, и облака торопливо бегут, то пряча, то открывая луну. Свет и сумрак непрестанно сменяются. Мы вплотную идем друг за другом, кучка теней, жалкий второй взвод, в котором уцелело всего несколько человек. Да и вся-то рота едва равна по численности нормальному взводу, но эти несколько человек прошли сквозь огонь и воду. Среди нас есть даже три старых солдата, призыва четырнадцатого года: Бетке, Веслинг и Козоле. Они все испытали. Когда они рассказывают иногда о первых месяцах маневренной войны, кажется, что они говорят о временах древних германцев.

На позициях каждый из нас забивается в какой-нибудь угол, в какую-нибудь яму. Пока что довольно тихо. Сигнальные ракеты, пулеметы, крысы. Нацелившись, Вилли ловким ударом ноги высоко подбрасывает крысу и лопатой рассекает ее в воздухе.

Одиночные выстрелы. Справа доносится отдаленный грохот рвущихся ручных гранат.

– Хоть бы здесь-то тихо было, – говорит Веслинг.

– Не хватает только напоследок получить пулю в мозговые клетки, – покачивает головой Вилли.

– Кому не везет, тот, и в носу ковыряя, ломает палец, – бормочет Валентин.

Людвиг лежит на плащ-палатке. Ему действительно не следовало двигаться. Макс Вайль дает ему несколько таблеток. Валентин уговаривает его выпить водки. Леддерхозе пытается рассказать смачный анекдот. Никто не слушает. Мы лежим и лежим. Время идет.

Я вдруг вздрагиваю и приподнимаюсь. Бетке тоже вскочил. Даже Тьяден ожил. Многолетний инстинкт предупреждает нас о чем-то, – еще никто не знает о чем, но все уверены – случилось чрезвычайное. Осторожно вытягиваем шеи, слушаем, шуримся так, что глаза становятся узкими щелками, вглядываемся во мрак. Никто уже не спит, все наши чувства напряжены до крайности, всеми своими мускулами мы готовы встретить неизвестное, грядущее, в котором видим только одно – опасность. Тихо шуршат ручные гранаты: это Вилли, наш лучший гранатометчик, пробирается вперед. Мы, как кошки, всем телом припали к земле. Рядом со мной – Людвиг Брайер. В напряженных чертах его лица нет и следа болезни. То же застывшее, безжизненное лицо, как и у всех здесь, – лицо окопа. Сумасшедшее напряжение сковало всех, – так необычайно впечатление, подсознательно полученное нами задолго до того, как чувства могут его определить.

Туман колыхнется и дышит нам в лицо. И вдруг я сознаю, что бросило нас во власть величайшей тревоги: стало тихо. Совсем тихо.

Ни пулеметов, ни пальбы, ни разрывов, ни посвиста снарядов – ничего, как есть ничего, ни одного выстрела, ни одного крика. Тихо, просто тихо.

Мы смотрим друг на друга, мы ничего не понимаем. С тех пор как мы на фронте, в первый раз так тихо. Мы беспокойно озираемся, мы хотим знать, что же это значит. Может быть, газ ползет? Но ветер дует в другую сторону, – он отогнал бы его. Готовится атака? Но тогда тишина только преждевременно выдала бы ее. Что же случилось? Граната в моей руке становится мокрой, – я вспотел от тревоги. Кажется, нервы не выдержат, лопнут. Пять минут, десять минут...

– Уже четверть часа! – восклицает Валентин Лагер. В тумане голос его звучит точно из могилы. И все еще ничего – ни атаки, ни возникающих из мглы прыгающих теней...

Пальцы разжимаются и сжимаются еще сильнее. Нет, этого не вынести больше! Мы так привыкли к гулу фронта, что теперь, когда он не давит на нас, ощущение такое, точно мы сейчас взорвемся, взлетим на воздух, как воздушные шары...

– Да ведь это мир, ребята! – говорит Вилли, и слова его – как взрыв бомбы.

Лица разглаживаются, движения становятся бесцельными и неуверенными. Мир? Не веря себе, мы смотрим друг на друга. Мир? Я выпускаю из рук гранату. Мир? Людвиг опять медленно ложится на свою плащ-палатку. Мир? У Бетке такие глаза, точно лицо его сейчас расколется. Мир? Веслинг стоит неподвижно, как дерево, и, когда он поворачивает к нам голову, кажется, что он сейчас шагнет и будет безостановочно идти и идти, пока не придет домой.

И вдруг – мы едва заметили это в своем смятении – тишины как не бывало: снова глухо громяют орудия, и вот опять вдали строчит пулемет, точно дятел постукивает по дереву. Мы успокаиваемся: мы почти рады этим привычным звукам смерти.

День проходит спокойно. Ночью мы должны отойти назад, как бывало уже не раз. Но враг не просто следует за нами – он нападает. Мы не успеваем оглянуться, как оказываемся под сильным огнем. В темноте за нами бушуют красные фонтаны. У нас пока еще тихо. Вилли и Тьяден находят банку мясных консервов и тут же все съедают. Остальные лежат и ждут. Долгие месяцы войны притупили их чувства, и, когда не нужно защищаться, они пребывают в состоянии почти полного равнодушия.

Ротный лезет в нашу воронку.

– Всем обеспечены? – старается он перекричать шум.

– Патронов маловато! – кричит в ответ Бетке. Хеель пожимает плечами и сует Бетке сигарету. Ветке, не оглядываясь, кивком благодарит его.

– Надо как-нибудь справиться! – кричит Хеель и прыгает в соседнюю воронку.

Он знает, что справятся. Каждый из этих старых солдат с таким же успехом мог бы командовать ротой, как и он сам.

Темнеет. Огонь нащупал нас. Нам не хватает прикрытия. Руками и лопатами роем в воронках углубления для головы. Так, вплотную прижавшись к земле, лежим мы – Альберт Троске по одну сторону от меня, Адольф Ветке – по другую. В двадцати метрах разрывается снаряд. Когда с тонким посвистом налетает эта бестия, мы мгновенно широко раскрываем рты, чтобы спасти барабанную перепонку, но все равно мы уже наполовину оглохли, земля и грязь брызжут нам в глаза, и от проклятого порохового и сернистого дыма першит в глотке. Осколки сыплются дождем. В кого-то наверняка попало: в нашу воронку у самой головы Бетке падает вместе с раскаленным осколком кисть чьей-то руки.

Хеель прыгает к нам. При вспышках разрывов видно из-под шлема его побледневшее от ярости лицо.

– Брандт... – задыхается он. – Прямое попадание. В клочки!

Снова бурлит, трещит, ревет, беснуется буря из грязи и железа, воздух грохочет, земля гудит. Но вот завеса поднимается, скользит назад, и в тот же миг из земли вырастают люди, опаленные, черные, с гранатами в руках, настороже, наготове.

– Медленно отступать! – кричит Хеель.

Атака – слева от нас. Борьба разгорается вокруг одной нашей огневой точки в воронке. Лает пулемет. Вспыхивают молнии рвущихся гранат. Вдруг пулемет замолкает: заело. Огневую точку сразу же атакуют с фланга. Еще несколько минут – и она будет отрезана. Хеель это видит.

– Черт! – Он прыгает через насыпь. – Вперед!

Боевые припасы летят вслед; в один миг Вилли, Бетке и Хеель ложатся на расстоянии броска и мечут гранаты; вот Хеель опять вскакивает, – в такие минуты он точно теряет рассудок, это сущий дьявол. Дело, однако, удастся. Те, кто залег в воронке, смелеют, пулемет снова строчит, связь восстанавливается, и мы все вместе бежим назад, стремясь добраться до бетонного блиндажа. Все произошло так быстро, что американцы и не заметили, как опустела воронка. Над бывшей огневой точкой все еще вспыхивают зарницы.

Становится тише. Я беспокоюсь о Людвиге. Но он здесь. Подползает Бетке.

– Веслинг?

– Что с Веслингом? Где Веслинг?

И в воздухе под глухие раскаты дальнобойных орудий повисает зов: «Веслинг!.. Веслинг!..»

Вынырнул Хеель:

– Что случилось?

– Веслинга нет.

Он лежал рядом с Тяденом, но после отступления Тяден его уже не видел.

– Где? – спрашивает Козоле.

Тяден показывает.

– Проклятие! – Козоле смотрит на Бетке, Бетке – на Козоле. Оба знают, что это, вероятно, наш последний бой. Ни минуты не колеблются.

– Будь что будет! – рычит Бетке.

– Пошли! – фыркает Козоле.

Они исчезают в темноте. Хеель прыгает за ними.

Людвиг приводит оставшихся в боевую готовность; если тех атакуют, мы сразу же бросимся на помощь. Пока все спокойно. Вдруг сверкнули молнии рвущихся гранат. Между взрывами – револьверные выстрелы. Мы тотчас бросаемся во тьму. Людвиг впереди. Но вот навстречу нам выплывают потные лица: Бетке и Козоле волокут кого-то на плащ-палатке.

Хеель? Это Веслинг стонет. Хеель? Стойте, он стрелял. Хеель вскоре возвращается.

– Со всей бандой в воронке покончено! – кричит он. – Да двух еще – револьвером.

Он пристально смотрит на Веслинга:

– Ты что это?

Веслинг не отвечает.

Его живот разворочен, как туша в мясной. Разглядеть, как глубока рана, невозможно. Мы перевязываем его на скорую руку. Веслинг стонет, просит воды. Ему не дают. Раненным в живот пить нельзя. Потом он просит, чтобы его укрыли. Его знобит, – он потерял много крови.

Вестовой приносит приказ: продолжать отступление. Пока не найдем носилок, мы тащим Веслинга на плащ-палатке, продев в нее ружье, чтобы удобнее было ухватиться. Ощупью, осторожно ступаем мы друг за другом. Светает. В кустах – серебро тумана. Мы покидаем зону боя. Все как будто кончено, но вдруг, тихо жужжа, нас настигает снаряд и с треском взрывается. Людвиг Брайер молча засучивает рукав. Он ранен в руку. Вайль накладывает ему повязку. Мы отступаем. Отступаем.

Воздух мягок, как вино. Это не ноябрь, это март. Небо бледно-голубое и ясное. В придорожных лужах отражается солнце. Мы идем по тополевой аллее. Деревья окаймляют шоссе, высокие и почти нетронутые. Только кое-где не хватает одного-двух. Местность эта оставалась в тылу, и оттого не так опустошена, как те многие километры, которые мы отдавали день за днем, метр за метром. Лучи солнца падают на бурую плащ-палатку, и, пока мы движемся по желтеющим аллеям, над ней все время реют листья; некоторые попадают внутрь.

В полевом лазарете все переполнено. Много раненых лежит под открытым небом. Веслинга тоже приходится пока что оставить во дворе.

Группа раненных в руку, белея повязками, формируется для эвакуации. Лазарет свертывают. Врач носится по двору и осматривает вновь прибывших. Солдата, у которого безжизненно болтается нога, вывернутая в коленном суставе, он велит немедленно внести в операционную. Веслинга только перевязывают и оставляют во дворе.

Он очнулся от забытья и смотрит вслед врачу:

– Почему он уходит?

– Сейчас вернется, – говорю я.

– Но ведь меня должны внести в помещение, мне нужно немедленно сделать операцию... – Он вдруг приходит в страшное волнение и начинает ощупывать свои бинты. – Это сейчас же надо зашить.

Мы стараемся его успокоить. От страха он весь позеленел, покрылся холодным потом:

– Адольф, беги вдогонку, верни его...

Бетке секунду колеблется. Но Веслинг не спускает с него глаз, и Адольф не может ослушаться, хотя и знает, что это бесполезно. Я вижу, как он разговаривает с врачом. Веслинг тянется за ним взглядом; страшно смотреть, как он пытается повернуть голову.

Бетке возвращается так, чтобы Веслинг его не видел, качает головой, показывает на пальцах: один – и беззвучно шевелит губами:

– Один час.

Мы делаем бодрые лица. Но кто обманет умирающего крестьянина? Когда Бетке говорит Веслингу, что его будут оперировать позже, рана, мол, должна раньше затянуться, – ему уже все ясно. Он молчит, затем еле слышно хрипит:

– Да... вам хорошо... вы все целы и невредимы... вернетесь домой... А я... четыре года – и вдруг такое... четыре года – и такое...

– Тебя сейчас возьмут в операционную, Генрих, – утешает его Бетке.

Веслинг машет рукой:

– Брось...

С этой минуты он почти не говорит больше. И даже не просит, чтобы его внесли в помещение, – хочет остаться на воле. Лазарет расположен на пригорке. Отсюда далеко видна аллея, по которой мы поднимались.

Она вся в багрянце и золоте. Земля здесь какая-то затихшая, мягкая, будто укрытая от опасности, виднеются даже пашни – маленькие темные квадратики под самым лазаретом. Когда ветер относит запахи крови и гноя, вдыхаешь терпкий аромат полей. Голубеют дали, и все кажется на редкость мирным – ведь фронт отсюда не виден. Фронт – справа.

Веслинг затих. Он оглядывает все внимательным взором. В глазах – сосредоточенность и ясность. Веслинг – крестьянин: природа ему ближе и понятнее, чем нам. Он знает, что пришла пора уйти, и не хочет терять ни одного мгновения. Он смотрит, смотрит... С каждой минутой он бледнеет все сильнее. Наконец шевелится и шепчет:

– Эрнст...

Я наклоняюсь к его губам.

– Достань мои вещи... – говорит он.

– Успеется, Генрих.

– Нет, нет. Давай...

Я раскладываю перед ним его вещи. Потертый клеенчатый бумажник, нож, часы, деньги – все это давно знакомо нам. Одиноко лежит в бумажнике фотография жены.

– Покажи, – говорит он.

Я вынимаю фотографию и держу ее так, чтобы он мог видеть. Ясное смуглое лицо. Веслинг долго смотрит. Помолчав, шепчет:

– И уж больше ничего этого не будет... – Губы его дрожат.

Он отводит глаза.

– Возьми с собой, – шепчет он. Я не знаю, что он имеет в виду, но не хочу расспрашивать и кладу фотографию в карман. – Отдай это ей... – Он смотрит на остальные вещи. Я киваю. – И скажи... – Он глядит на меня каким-то особенным, широко открытым взором, что-то бормочет, качает головой и стонет. Я судорожно стараюсь еще хоть что-нибудь уловить, но он только хрипит, вытягивается, дышит тяжелей и реже, с перерывами, задыхается, потом еще раз вздыхает глубоко и полно, и вдруг глаза его точно слепнут. Он мертв.

На следующее утро мы в последний раз лежим на передовой. Стрельбы почти не слышно. Война кончилась. Через час нам сниматься. Сюда нам никогда больше не придется вернуться. Если мы уйдем, мы уйдем навсегда.

Мы разрушаем все, что еще можно разрушить. Жалкие остатки. Несколько окопов. Затем приходит приказ об отходе.

Станный миг. Мы стоим друг подле друга и смотрим вдаль. Легкие клубы тумана стелются по земле. Ясно видны линии воронок и окопов. Правда, это только последние линии, запасные позиции, но все же и это – зона огня. Как часто шли мы вот этим подземным ходом на передовые, и как часто лишь немногие возвращались обратно. Перед нами серый, унылый пейзаж, вдали остатки рощицы, несколько пней, развалины деревни, среди них каким-то образом уцелевшая каменная стена.

– Да, – задумчиво говорит Бетке, – четыре года просидели здесь...

– Да, да, черт возьми! – подхватывает Козоле. – И вот так просто все кончено.

– Эх, ребята! – Вилли Хомайер прислонился к насыпи. – Странно все это, а?

Мы не в силах отвести глаза. Ферма, остатки леса, холмы, эти линии там, на горизонте, – все это было страшным миром и мучительной жизнью. А теперь, как только мы повернемся и пойдем, они попросту останутся позади, и с каждым нашим шагом будут все больше и больше погружаться в небытие, и через час сгинут, словно никогда и не были. Кто поймет это?

Вот мы стоим здесь; нам бы смеяться и реветь от радости, а у нас какое-то нудное ощущение в животе: точно веника наелся и вот-вот вырвет.

Слова наши бессвязны. Людвиг Брайер устало прислонился к краю окопа и поднимает руку, будто перед ним человек, которому он хочет помахать на прощание.

Появляется Хеель:

– Расстаться не можете, а? Да, теперь-то начинается самая мерзость.

Леддерхозе удивленно смотрит на него:

– Почему мерзость, когда мир?

– Вот именно, это и есть мерзость, – говорит Хеель и идет дальше; у него такое лицо, словно он только что похоронил мать.

– Ему «Pour le merite»¹ не хватает, – говорит Леддерхозе.

– Да заткнись ты, – обрывает его Альберт Троске.

– Ну, пошли! – говорит Бетке, но сам не трогается с места.

– Кой-кого оставили здесь, – говорит Людвиг.

¹ «За заслуги» (фр.) – прусский орден.

- Да, немало народу... Брандт, Мюллер, Кат, Хайе, Боймер, Бертинк...
- Зандкуль, Майндерс, оба Тербрюгена – Гуго и Бернгард...
- Будет вам...

Много наших лежит здесь, но до сих пор мы этого так не чувствовали. Ведь мы были вместе: они в засыпанных, мы в открытых ямах, разделенные лишь несколькими горстями земли. Они только несколько опередили нас, ибо с каждым днем их становится больше, а нас меньше, и порой мы уже не знали, не находимся ли и мы в их числе. Но иногда снарядами их снова поднимало к нам; высоко взлетали распадающиеся кости, остатки обмундирования, истлевшие, мокрые, уже землистые головы, ураганным огнем возвращенные из подземных окопов на поле брани. Нам это вовсе не казалось страшным: мы были как бы неотделимы от них. Но теперь мы возвращаемся обратно в жизнь, а они остаются здесь.

Людвиг, потерявший на этом участке двоюродного брата, сморкается в руку, поворачивается и идет. Мы медленно следуем за ним. Еще несколько раз останавливаемся и оглядываемся. Снова и снова прирастаем к месту и вдруг чувствуем, что вот это, этот ад крошечный, этот искромсанный кусок траншейной земли проник нам в самое нутро, что он – будь он проклят! – он, осточертевший нам до рвоты, чуть ли не мил теперь, каким вздором это ни звучит, мил, как мучительная, страшная родина, с которой мы связаны навеки.

Мы отмахиваемся от нелепой мысли, но то ли это погубленные годы, оставленные здесь, то ли товарищи, которые тут полегли, то ли неисчислимые страдания, всосанные этой землей, – но до мозга костей въелась в нас тоска, хоть зареви в голос...

Мы трогаемся в путь.

Часть первая

Дороги бегут через леса и поля, селенья лежат в серой мгле, деревья шумят, и листья падают, падают.

А по дорогам, шаг за шагом, в вылинявших грязных шинелях тянутся серые колонны. Под стальными шлемами обросшие щетиной испытые лица; они изнурены голодом и невзгодами, источены, иссушены до костей и несут на себе печать ужаса, отваги и смерти. Молча идут колонны; так, без лишних слов, не раз шагали они по многим дорогам, сидели во многих теплушках, горбились во многих окопах, лежали во многих воронках; так идут они теперь и по этой дороге, дороге на родину, дороге к миру. Без лишних слов. Бородатые старики и хрупкие юнцы, едва достигшие двадцати лет, товарищи – без всяких различий. Рядом с ними – младшие офицеры, полудети, не раз, однако, водившие их в ночные бои и атаки. А позади – армия мертвецов. Так идут они вперед, шаг за шагом, больные, полузаморенные голодом, без снаряжения, поредевшими рядами, и в глазах у них непостижимое: спаслись от преисподней... Путь ведет обратно – в жизнь.

I

Рота наша продвигается медленно; мы устали и, кроме того, ведем с собой раненых. Поэтому мы мало-помалу отстаем. Местность холмистая, и, когда дорога поднимается в гору, нам видны с одной стороны остатки наших отходящих войск, с другой – густые, бесконечные ряды, следующие за нами. Это американцы. Широкой рекой движутся меж деревьями их колонны, и над ними зыбью пробегает беспокойное поблескивание оружия. А вокруг – тихие поля, и деревья в осеннем уборе спокойно и безучастно поднимают свои верхушки над стремительным потоком.

Ночь мы провели в небольшой деревне. За домами, в которых нас расквартировали, течет ручей, обсаженный ивами. Вдоль ручья вьется узкая тропинка. Поодиночке, гуськом, растянувшись длинной лентой, тянемся мы по ее изгибам. Козоле – впереди. Рядом с ним бежит, обнюхивая его хлебный мешок, Волк, любимец нашей роты.

Вдруг на перекрестке, там, где тропинка вливается в шоссе, Фердинанд бросается назад: – Внимание!

Вмиг ружья наготове, и мы рассыпаемся в разные стороны. Козоле, готовый открыть огонь, залег в придорожной канаве. Юпп и Троске, озираясь, притаились за кустом, Вилли Хомайер стремительно срывает с пояса ручные гранаты, и даже раненые приготовились к бою.

По шоссе, болтая и смеясь, идут американцы. Это догнал нас их передовой отряд.

Адольф Бетке единственный остался на ногах. Он спокойно покидает укрытие и выходит на дорогу. Козоле поднимается. Все остальные тоже опомнились, смущенно и неловко оправляют на себе пояса и ремни винтовок, – ведь уже несколько дней, как война кончилась.

Увидев нас, американцы в изумлении останавливаются. Разговоры обрываются. Американские солдаты медленно приближаются. Мы пятимся к какому-то сараю, чтобы иметь прикрытый тыл, и выжидаем. Раненых берем в середину.

С минуту длится молчание, затем от группы американцев отделяется долговязый парень и машет нам:

– Алло, камрад!

Адольф Бетке тоже поднимает руку:

– Алло!

Напряжение спадает. Американцы подходят вплотную. Еще мгновение, и они окружают нас. До сих пор мы видели их вблизи лишь пленными или мертвыми.

Станный миг. Молча смотрим мы на американцев. Они стоят полукругом, все как один рослые, крепкие; сразу видно, что еды у них всегда было вдоволь. Все молодые – никто из них по возрасту даже не приближается к Адольфу Бетке или Фердинанду Козоле, а они ведь у нас еще не самые старшие. Но нет среди них и таких юных, как Альберт Троске или Карл Брегер, а они ведь у нас еще не самые молодые.

На американцах новое обмундирование, ботинки их из непромокаемой кожи и пригнаны по ноге, оружие хорошего качества, ранцы полны боевых припасов. У всех свежий, бодрый вид.

По сравнению с ними мы настоящая банда разбойников. Наше обмундирование выцвело от многолетней грязи, от дождей Аргонн, от известняка Шампани, от болот Фландрии; шинели искромсаны осколками снарядов и шрапнелью, защиты неуклюжими стежками, стали заскорузлыми от глины, а нередко и от засохшей крови; сапоги расшлепаны, оружие давно отслужило свой век, боевые припасы на исходе. Все мы одинаково замызганы, одинаково одичали, одинаково изнурены. Паровым катком прошла по нам война.

Подтягиваются все новые и новые части. Кругом полно любопытных.

Мы все еще стоим в углу, сгрудившись вокруг наших раненых, – не потому, что боимся, а потому, что мы нераздельны. Американцы подталкивают друг друга, показывая на наши старые, изношенные вещи. Один из них предлагает Брайеру кусок белого хлеба, но тот не берет, хотя в глазах у него голод.

Вдруг кто-то, подавив возглас, показывает на повязки наших раненых. Повязки из гофрированной бумаги, скрепленные бечевкой. Это привлекает всеобщее внимание. Американцы отходят и шепчутся между собой. Их добродушные лица выражают сочувствие, – они видят, что у нас даже марли нет.

Американец, окликнувший нас первым, кладет руку на плечо Бетке.

– Немцы хорош солдат, молодец солдат, – говорит он.

Его товарищи рьяно поддакивают.

Мы не отвечаем, – мы не в силах теперь ответить. Последние недели были особенно тяжелыми. Нас снова и снова бросали в огонь, и мы напрасно теряли людей, но мы ни о чем не спрашивали, мы шли в бой, как все эти годы, и от нашей роты в двести человек осталось только тридцать два. Вышли мы из боев, все так же ни о чем не раздумывая и ничего не чувствуя, кроме одного: мы выполнили все, что было на нас возложено.

Но теперь, под сочувственными взглядами американцев, мы начинаем понимать, до чего все это было под конец бессмысленно. Вид бесконечных прекрасно вооруженных колонн показывает нам, как безнадежно было сопротивляться такому превосходству в людях и технике.

Прикусив губы, мы смотрим друг на друга. Бетке сбрасывает с плеча руку американца, Козоле смотрит прямо перед собой, Людвиг Брайер выпрямляется; мы крепче сжимаем винтовки, мускулы наши напрягаются, взгляд становится тверже, и глаз мы не опускаем, мы смотрим на дорогу, по которой пришли, и лица у нас от волнения замыкаются, и нас обжигает мысль о том, что мы совершили, о том, чего натерпелись, о том, что осталось позади.

Мы не знаем, что с нами происходит, но, если бы сейчас кто-нибудь обронил хотя бы одно резкое слово, оно – хотели бы мы того или нет – рвануло бы нас с места, мы бросились бы вперед и жестоко, не переводя дыхания, безумно, с отчаянием в душе, бились бы... Вопреки всему, снова бились бы...

Коренастый сержант с разгоряченным лицом протискивается к нам. Он забрасывает Козоле, который стоит к нему ближе всех, ворохом немецких слов. Фердинанд вздрагивает, до того это неожиданно.

– Да ведь он говорит по-нашему, – удивленно обращается он к Бетке, – как это тебе нравится?

Американец говорит даже лучше и глаже, чем Козоле. Он рассказывает, что до войны жил в Дрездене и там у него было много друзей.

– В Дрездене? – переспрашивает Козоле, все более и более изумляясь. – Да ведь и я там прожил два года...

Сержант улыбается, как будто ему это льстит. Он называет улицу, на которой жил.

– Ну, меньше чем в пяти минутах ходу от меня, – взволнованно говорит Фердинанд. – И мы ни разу не встретились! Вы, может быть, знаете вдову Поль на Иоганисштрассе? Такая толстая брюнетка. Моя квартирная хозяйка.

Ее, правда, сержант не знает, но зато он знаком с советником Цандером, которого Козоле, в свою очередь, не может вспомнить. Но оба дружно вспоминают Эльбу и дворец и сияющими глазами, как старые приятели, смотрят друг на друга, Фердинанд хлопает сержанта по плечу:

– Ну и парень, болтает по-немецки, как заправский немец, да еще в Дрездене жил! Послушай-ка, зачем же мы с тобой воевали?

Сержант смеется и тоже не знает, зачем воевали. Он вытаскивает пачку сигарет и протягивает их Козоле, Козоле так и набрасывается, – за хорошую сигарету все мы готовы душу

отдать. Наши сигареты в лучшем случае из буковых листьев и сена. Обычно же, как утверждает Валентин Лагер, мы курим водоросли с сушеным конским навозом, а Валентин в этом разбирается.

Козоле с наслаждением выдыхает дым. Мы жадно шмыгаем носами. Лагер бледнеет. Ноздри его трепещут.

– Одну затяжку! – слезно молит он Фердинанда.

Но не успевает он взять сигарету у Козоле, как один из американцев протягивает ему пачку «Вирджинии». Валентин недоверчиво смотрит на него, берет табак и нюхает. Лицо у него светлеет. Нехотя возвращает он пачку. Но американец отводит его руку и показывает на фуражку Валентина с кокардой. Фуражка торчит из его походного мешка.

Валентин не понимает.

– Он хочет сменять табак на кокарду, – поясняет сержант из Дрездена.

Лагер в полном недоумении. Как? Первосортный табак променять на жестяную кокарду? С ума спятил человек, не иначе. Валентин не расстался бы с пачкой, хотя бы в обмен на нее его тут же произвели в унтера или даже в лейтенанты. Он тотчас же протягивает американцу не только кокарду, но и фуражку и дрожащими руками жадно набивает первую трубку.

Теперь нам, наконец, ясно: американцы хотят меняться. Сразу видно, что они воюют недавно. Они собирают всякие сувениры: погоны, кокарды, пряжки, ордена, пуговицы военного образца. А мы взамен этих пустяков запасаемся мылом, сигаретами, шоколадом и консервами. За нашу собаку они предлагают нам, кроме вещей, еще и пригоршню монет, но тут нас ничем не соблазнишь, – с Волком мы ни за что не расстанемся.

И раненым нашим повезло. Одному американцу, у которого столько золота во рту, что пасть его блестит, как целый завод медных изделий, страшно хочется получить пропитанные кровью лоскутки повязок: вернувшись на родину, он сможет доказать, что наши повязки на самом деле из бумаги. Взамен он предлагает отличный кекс и – что важнее всего – кучу перевязочного материала. Чрезвычайно довольный, он бережно укладывает в бумажник грязные клочки, в особенности обрывки от повязки Людвиг Брайера. Как же! Ведь это кровь лейтенанта! На лоскуте Людвиг должен был написать карандашом название местности, имя, номер войсковой части; пусть в Америке всякий видит, что дело тут без обмана. Людвиг сначала противился, но Вайль его уговорил: в перевязочных материалах мы терпим горькую нужду. А кроме того, для Брайера, с его дизентерией, кекс – настоящее спасение.

Но самый выигрышный ход делает Артур Леддерхозе. Он приволок на место обмена ящик с Железными крестами, найденный им в какой-то покинутой полевой канцелярии. Американец, такой же помятый, как Леддерхозе, с таким же лимонно-желтым лицом, как у того, хочет заполучить весь ящик сразу. Но Леддерхозе лишь шурится и смеривает его долгим, всепонимающим взглядом. Американец спокойно выдерживает взгляд и прикидывается простаком. Оба вдруг становятся похожими друг на друга, как родные братья. Над войной и смертью здесь неожиданно торжествует нечто, устоявшее перед всем, – дух торговли.

Противник Леддерхозе быстро соображает, что тут ничего не поделаешь: Артур не дает себя провести – торговля в розницу для него куда выгоднее. Он меняет до тех пор, пока ящик не пустеет. Возле него постепенно вырастает куча вещей, среди них даже масло, шелк, яйца и белье, так что к концу Леддерхозе напоминает бакалейную лавку на выгнутых колесом ногах.

Мы трогаемся в путь. Американцы шумно провожают нас и машут вслед. Особенно старается сержант. Козоле тоже растроган, насколько это возможно для старого служаки. Он хрюкает что-то на прощание и машет рукой; жест его, правда, скорее похож на угрозу. Он обращается к Бетке:

– Вполне порядочные парни, верно?

Адольф кивает. Мы молча шагаем. Фердинанд опустил голову. Он размышляет. Это с ним не часто случается, но уж если что застрянет у него в мозгу, он жует это долго и упорно. Сержанта из Дрездена он никак не может забыть.

В деревнях народ глазееет на нас. В сторожке стрелочника в окне стоят цветы. Полногрудая женщина кормит ребенка. На ней голубое платье. Собаки лают нам вслед; Волк отлаивается. На обочине дороги петух насккиивает на курицу. Мы бездумно покуриваем.

Шагаем, шагаем... Зона полевых лазаретов. Зона интендантских канцелярий. Большой платановый парк. Под деревьями носилки, раненные. Листья падают и накрывают их багрянцем и золотом.

Лазарет для отравленных газами. Здесь тяжелораненные, которых нельзя эвакуировать. Синие, восковые, зеленые лица, мертвые, разъеденные кислотой глаза, хрипящие, задышающиеся, агонизирующие люди. Все стремятся прочь отсюда, боятся попасть в плен. Точно не все равно, где умирать.

Мы пытаемся утешить их, уверяем, что у американцев лучше кормят. Но они и слушать не хотят. Снова и снова кричат нам и просят взять с собой.

Их мольбы ужасны. В ясном воздухе, под открытым небом бледные лица кажутся прозрачными. Страшнее всего бороды. Они торчат как-то сами по себе, жесткие, упрямые, буйная поросль на щеках, черный мох, высасывающий тем больше соков, чем сильнее западают щеки.

Некоторые из тяжелораненных, как дети, протягивают к нам исхудалые, бескровные руки. – Возьмите меня с собой, братцы, – молят несчастные, – возьмите с собой!

В глазных впадинах у них глубокие тени отрешенности, и там, словно в омуте, барахтаются зрачки. Некоторые лежат молча; они только глядят нам вслед, пока мы не исчезаем из поля зрения.

Постепенно голоса их становятся все слабее. Медленно тащимся мы по дорогам. Мы обвешаны кучей вещей: хочется и домой кое-что принести. Облака заволокли небо. Под вечер солнце прорывается сквозь них, и березки, уже почти без листьев, отражаются в придорожных лужах. Легкая голубая дымка повисла в ветвях.

Я шагаю, опустив голову, с ранцем на плечах, и смотрю, как в чистых дождевых лужах по краям дороги отражаются светлые шелковые деревья, и это отражение в случайном зеркале ярче действительности. Вот лежат, обрамленные темной землей, кусок неба, деревья, глубь, чистота, и меня вдруг охватывает трепет. Впервые за долгое время я вновь чувствую: что-то красиво, вот это отражение в дождевой луже попросту красиво, красиво и чисто. Радостно бьется сердце, на мгновение я освобождаюсь от всего и ощущаю впервые: мир; вижу: мир; чувствую всеми фибрами души: мир! Уходит гнет, крепко державший нас в своих тисках; взлетает неведомое, новое, чайка, белая чайка, мир, трепетный горизонт, трепетное ожидание, первый взгляд, предчувствие, надежда, набухающее грядущее: мир!

Я вздрагиваю и оглядываюсь: там, позади, на носилках, лежат мои товарищи и все еще вызывают к нам. Настал мир, а они все равно должны умереть. Но я дрожу от радости – и не стыжусь этого. Странно, странно...

Быть может, потому вновь и вновь возникают войны, что один никогда не может до конца почувствовать, как страдает другой.

II

Вечером мы сидим в саду какой-то пивной. Командир нашей роты, обер-лейтенант Хеель, выходит из фабричной конторы и собирает нас. Есть приказ об избрании уполномоченных от солдат. Мы поражены. Никогда ничего подобного не было.

В саду появляется Макс Вайль. Он размахивает газетой и кричит:

– В Берлине революция!

Хеель оборачивается.

– Вздор, – говорит он резко. – В Берлине попросту беспорядки.

Но Вайль, оказывается, не договорил:

– Кайзер бежал в Голландию.

Мы смотрим на него во все глаза. Вайль, несомненно, спятил. Хеель багровеет и кричит:

– Врешь, негодяй!

Вайль протягивает газету. Хеель комкает ее и с бешенством смотрит на Вайля. Он ненавидит его, потому что Вайль еврей и потому что он уравновешенный человек, который вечно сидит где-нибудь, склонившись над книгой, Хеель же – лихой рубака.

– Вздор, вздор, вздор! – шипит он, уставившись на Вайля так, словно хочет проглотить его.

Макс расстегивает куртку и вытаскивает из нагрудного кармана вторую газету – экстренный выпуск, Хеель взглядывает на нее, вырывает из рук Вайля, рвет на мелкие кусочки и уходит в дом. Вайль подбирает обрывки, составляет их и читает нам последние новости. Мы сидим, как ошалелые. Никто ничего не понимает.

– Он будто бы хотел избежать гражданской войны, – говорит Вайль.

– Ерунда! – восклицает Козоле. – Посмели бы мы раньше даже произнести такое. Эх, черт! За кого только кровь проливали?!

– Юпп, ущипни меня; может, мне все это снится, – покачивая головой, говорит Бетке.

Юпп констатирует, что Бетке бодрствует.

– Значит, – говорит Ветке, – это правда. И все-таки я ничего не понимаю. Сделал бы кто-нибудь из нас такое, его сразу поставили бы к стенке.

– О Веслинге и Шредере лучше и не думать, – говорит Козоле, сжимая кулаки, – не то прямо лопнешь с досады. Вспомнить этого Шредера – птенец желторотый, детеныш – и расплющен в лепешку. А тот, за кого он умирал, улепetyвает! Блевотина треклятая! – Он ударяет каблуком по пивной бочке.

Вилли Хомайер пренебрежительно машет рукой.

– Поговорим-ка лучше о чем-нибудь другом, – предлагает он. – Этот человек для меня больше не существует.

Вайль сообщает, что во многих полках образованы советы солдатских депутатов. Офицерам больше не подчиняются, с них срывают погоны.

Он предлагает образовать у нас такой же совет, но не находит отклика. Мы не желаем ничего организовывать. Мы хотим домой. А домой доберемся и так.

В конце концов мы все-таки выбираем трех уполномоченных: Адольфа Бетке, Макса Вайля и Людвиг Брайера.

Вайль требует, чтобы Людвиг снял погоны.

– Видно, у тебя не все дома... – устало говорит Людвиг и пальцами стучит себя по лбу.

Бетке отстраняет Вайля.

– Брайер свой парень, – коротко говорит он.

Брайер пришел в нашу часть добровольцем и уже на фронте был произведен в офицеры. Он на «ты» не только с нами – с Троске, Хомайером, Брегером и со мной (это естественно –

мы однокашники), – но и со старшими солдатами, когда поблизости нет никого из офицеров. И это ставится ему в большую заслугу.

– Ну, а Хеель? – упорствует Вайль.

Это нам понятнее. Хеель частенько придирался к Вайлю, и не удивительно, что Вайлю хочется теперь насладиться своим торжеством. Нам-то на это наплевать, Хеель бывал, правда, резок, но он всегда рвался в бой, точно Блюхер, и держался молодцом. Солдат такие вещи ценит.

– А ты сходи, поговори с ним, – говорит Бетке.

– Да не забудь захватить с собой бинтов и ваты! – кричит вдогонку Тьяден.

Но дело оборачивается иначе. Хеель как раз выходит из конторы, когда Вайль собирается туда войти. В руках у Хееля несколько печатных листов. Он указывает на них Максу.

– Все верно, – произносит он.

Вайль заговорил. Когда он упомянул о погонах, Хеель вскинулся. Мы уверены, что скандал вот-вот разразится, но ротный, к нашему удивлению, говорит:

– Вы правы.

Он подходит к Людвигу и кладет ему руку на плечо:

– Вам, Брайер, пожалуй, не понять этого. Солдатская шинель – теперь это все. Остальное было да сплыло.

Никто из нас не проронил ни слова. Это не тот Хеель, которого мы знаем, который ночью выходил на дозор с одной только тростью и считался у нас заговоренным от пуль. Человек, стоящий перед нами, говорит с трудом и едва держится на ногах.

Поздно вечером, когда я уже сплю, меня будит шепот.

– Ты спятил, – слышу я голос Козоле.

– Уверяю тебя, – возражает Вилли. – Пойди сам посмотри.

Они как сумасшедшие вскакивают и выходят во двор. Я – за ними. В конторе свет. Видно все, что там делается. Хеель сидит у стола. Перед ним – его китель. Погонов нет. Хеель в солдатской куртке. Он обхватил голову руками и – нет, это совершенно невероятно... Я делаю шаг вперед, чтобы убедиться, – Хеель, Хеель плачет!

– Вот так штука! – шепчет Тьяден.

– Прочь! – говорит Бетке и дает Тьядену пинка. Смущенные, мы на цыпочках возвращаемся назад.

На следующее утро узнаем, что какой-то майор в соседнем полку, услышав о бегстве кайзера, застрелился.

Хеель появляется. У него серое, измученное бессонницей лицо. Тихо отдает он необходимые приказания и уходит. У всех кошки скребут на душе. У нас отняли последнее, чем мы держались. Мы потеряли почву под ногами.

– Чувствуешь себя так, точно тебя и в самом деле предали, – угрюмо говорит Козоле.

Сегодня мы не те, что вчера. Мрачные, строимся мы в колонны и вновь пускаемся в путь. Одиноким отряд, брошенная армия. Шанцевые инструменты монотонно позвякивают при каждом шаге: все напрасно... все напрасно...

Только Леддерхозе весел, как дрозд. Он продает консервы и сахар из своих американских запасов.

К вечеру следующего дня мы добираемся до германской границы. Только теперь, когда вокруг не слышно французской речи, мы начинаем верить, что мир в самом деле наступил. В глубине души мы все время боялись внезапного приказа повернуть назад и снова идти в окопы: к хорошему солдаты всегда относятся с недоверием и правильней с самого начала рассчитывать на худшее. Но вот мало-помалу нас охватывает тихий трепет.

Мы входим в большую деревню. Через улицу перекинута несколько увядших гирлянд. Видимо, здесь проходило столько войск, что для остатков армии уже не было охоты стараться. Нам приходится поэтому довольствоваться двумя-тремя намокшими от дождей плакатами с выцветшей надписью: «Добро пожаловать!», украшенной растрепанным венком из бумажных дубовых листьев. Народ так привык к виду проходящих войск, что едва глядит нам вслед. А для нас все ново, мы изголодались по доброму слову, по приветливому взгляду, хотя и утверждаем, что нам плевать на такие нежности. По крайней мере девчонки-то могли бы остановиться и приветливо помахать нам ручкой! Тьяден и Юпп пытаются окликнуть одну-другую, но успеха они не имеют. Наверно, мы слишком заросли грязью. В конце концов оба умолкают.

Только дети идут с нами. Они цепляются за наши руки и бегут рядом. Мы кормим их шоколадом, маленькими кусочками, – нам хочется, естественно, принести немного сладкого и домой.

Адольф Бетке держит на руках маленькую девочку. Она тянет его за усы, как за вожжи, Адольф строит смешные гримасы, девочка заливается хохотом и хлопает его ручонками по лицу. Адольф задерживает ручку и показывает мне, какая она крохотная.

Он больше не строит гримас, и девочка начинает плакать, Адольф пытается ее успокоить, но она плачет сильнее и сильнее, и он спускает ее на землю.

– Мы стали, верно, настоящими пугалами, – ворчит Козоле.

– Ну, еще бы. От окопного рыла хоть кого жуть возьмет, – говорит Вилли.

– От нас пахнет кровью... В этом все дело, – говорит Людвиг Брайер.

– Вот помоемся, – мечтает Юпп, – тогда, наверное, и девчонки будут поласковой.

– Ах, если бы достаточно было только помыться, – задумчиво откликается Людвиг.

Раздосадованные, движемся мы дальше. После стольких лет войны мы не так представляли себе возвращение на родину. Думали, нас будут ждать, а теперь видим: здесь каждый по-прежнему занят собой. Жизнь ушла вперед и идет своим чередом, как будто мы теперь уже лишние. Деревня эта, конечно, еще не вся Германия, но досада подступает к самому горлу, и тень набегают, и в душу закрадывается странное предчувствие.

Телеги громяют мимо, возницы покрикивают, люди мельком взглядывают на нас и спешат дальше, занятые своими мыслями и заботами. Бьют часы на колокольне, и сырой ветер дышит нам в лицо. И только какая-то старушка в чепце с длинными лентами обегает без конца наши ряды и робко расспрашивает всех о некоем Эрхарде Шмидте.

Под постой нам отводят огромный сарай. Но, хоть мы и отмахали десятки километров, спать никому не хочется. Мы отправляемся в трактиры.

Там – большое оживление. Есть мутное вино, уже этого года, замечательно вкусное. Оно здорово бросается в ноги. Тем приятней сидеть здесь. Облака табачного дыма под низким потолком, вино пахнет землей и летним солнцем. Мы достаем наши консервы, мясо накладываем на толстые ломти хлеба, втыкаем ножи подле себя в широкие дощатые столы и принимаемся есть. Керосиновая лампа, как мать, обогревает нас своим светом.

Вечером мир всегда прекрасней. Не в окопах, правда, а в мирной жизни. Сегодня днем мы входили в эту деревню разозленные, теперь мы оживаем. Маленький оркестр в углу быстро пополняется нашими ребятами. Среди нас есть не только пианисты и виртуозы игры на губной гармонике, но даже один настоящий музыкант, баварец, играющий на басовой гитаре. К ним присоединяется Вилли Хомайер, соорудивший себе какую-то дьявольскую скрипку. Кроме того, он вооружился крышками от бельевых баков и блестяще заменяет ими литавры, тарелки и треугольники.

Но самое непривычное, что бросается в голову сильнее вина, – это девушки. Они иные, чем днем: они смеются, они доступны. Или это не те? Девушек мы давно не видели.

Сначала мы вождедем к ним и в то же время чувствуем смущение, мы не доверяем себе – на фронте мы разучились обращаться с женщинами. Но вот Фердинанд Козоле подхватывает

ядреную чертовочку с могучим, как бруствер, бюстом, который служит ему удобной опорой. Его примеру следуют остальные.

Сладкое тяжелое вино приятно звенит в голове, девушки носятся по залу, играет музыка, а мы собрались в углу вокруг Адольфа Бетке.

– Ребята, – говорит он, – завтра или послезавтра мы дома. Э-эх, ребята, жена-то, наверно, заждалась, ведь уже целых десять месяцев...

Я перегибаюсь через стол и разговариваю с Валентином Лагером; он холодно, с видом превосходства осматривает девушек. Рядом с ним сидит блондиночка, но он точно не замечает ее. Когда я нагибаюсь, что-то в моей куртке ударяется об угол стола. Я ощупываю карман. Часы Генриха Веслинга. Как давно это было...

Юпп подцепил самую толстую девушку. Он танцует, изогнувшись вопросительным знаком. Его огромная лапища удобно расположилась на широченном бедре девушки и наигрывает на нем, как на рояле. Толстуха влажным ртом смеется ему прямо в лицо, и Юпп с каждой минутой все больше распаляется. Наконец наостряет лыжи и исчезает вместе со своей дамой.

Несколько минут спустя я выхожу в сад и ищу укромное местечко. Нахожу одно, но там стоит какой-то взопревший унтер и с ним девушка. Я брожу по всему саду и только собираюсь пристроиться, как за мной раздается отчаянный треск. Оборачиваюсь – и вижу: Юпп со своей толстухой копошатся на земле. Они продавили садовый стол и вместе с ним опрокинулись. Увидев меня, толстуха прыскает со смеху и показывает язык. Юпп шипит от злости. Я спешно ретируюсь в кусты и наступаю кому-то на руку... Дьявольская ночь!

– Ослеп, что ли, медведь косолапый? – рычит чей-то бас.

– А я почему знаю, что ты разлегся здесь, баран чертов, – огрызаюсь я с досадой. Наконец нахожу спокойное местечко.

Прохладный ветерок, приятно освежающий после трактирного чада, темные скаты крыш, кроны деревьев, тишина и идиллическое журчанье, я мочусь... Подходит Альберт и становится рядом. Светит луна. Струйки поблескивают, как чистое серебро.

– Хорошо, Эрнст, а? – говорит Альберт.

Я молча киваю. Мы еще долго стоим и смотрим на луну.

– И подумать только, Альберт, что вся эта мерзость позади!

– Да, Эрнст, черт побери.

За нами – хруст и треск. Из кустов доносится подавленно-ликующее взвизгивание девушек. Ночь, как гроза, заряженная прорвавшейся жизнью; дико и горячо зажигается жизнь о жизнь.

Кто-то стонет в саду. В ответ раздается смешок. С сеновала спускаются две тени. На лестнице стоят двое. Мужчина, точно взбесившись, зарывается лицом в юбки девушки и что-то лепечет. Она хрипло смеется, и смех ее словно щеткой царапает по нервам. Мурашки пробегают у меня по спине. Как это близко одно и другое: вчера и сегодня, смерть и жизнь.

Из темноты сада показывается Тьяден. Он обливается потом, но лицо его сияет.

– До чего ж хорошо, ребятки, – говорит он, застегивая куртку. – Чувствуешь, по крайней мере, что жив.

Мы огибаем дом и натываемся на Вилли Хомайера. Он развел на капустных грядках большой костер и бросил в него несколько полновесных пригоршней картофеля, свой трофей. Мирно и мечтательно сидит он в одиночестве перед огнем и дожидается, пока испечется картошка. Возле него несколько раскупоренных коробок американских мясных консервов. Собака лежит рядом и внимательно следит за ним.

Языки пламени бросают медный отсвет на рыжие волосы Вилли. Снизу, с лугов, поднимается туман. Мерцают звезды. Мы подсаживаемся к нему и достаем из огня картофелины. Шелуха обгорела дочерна, зато золотистая мякоть рассыпчата и ароматна. Мы хватаем мясо

обеими руками и едим его, с увлечением мотая головой из стороны в сторону, словно играем на губной гармонике. Отвинчиваем от фляжек алюминиевые стаканчики и наливаем водку.

Как вкусна картошка! Правда ли, что земля вертится? Где мы? Может, мы снова сидим мальчишками на поле и целый день выбираем из крепко пахнущей земли картофель, чувствуя за своими спинами краснощеких девушек в выцветших голубых платьях и с корзинами в руках? О вы, костры нашей юности! Белые клубы дыма тянулись над полем, потрескивало пламя, а кругом – тишина... Картофель поспевал последним, к тому времени уже все бывало убрано, земля лежала, раскинувшись во всю ширь. Ясный воздух, горький, белый, любимый дым, последняя осень. Горький дым, горький аромат осени, костры нашей юности. Клубы дыма плывут, плывут и уплывают... Лица товарищей, мы в пути, война кончилась, так странно растаяло все, и вот – снова костры, и печенный в золе картофель, и осень, и жизнь...

– Эх, Вилли, Вилли...

– Что, здорово придумал? – спрашивает он, поднимая глаза. В обеих руках у него полно мяса и картошки.

Ах ты, голова баранья, ведь я совсем не о том...

* * *

Костер догорел. Вилли обтирает руки о штаны и складывает ножик. В деревне тихо, только лают собаки. Не слышно ни взрыва снарядов, ни дребезжания артиллерийских повозок, ни даже осторожного поскрипывания санитарных машин. Ночь, в которую умрет гораздо меньше людей, чем в любую ночь за эти все четыре года.

Мы возвращаемся в трактир. Веселье уже притихло. Валентин сбросил куртку и сделал несколько стойек на руках. Девушки хлопают, но Валентин недоволен. Он с грустью говорит Козоле:

– Когда-то, Фердинанд, я был неплохим акробатом. Ну, а теперь хоть в ярмарочный балаган иди, да и то не знаю, возьмут ли! «Партерный акробат Валентин» – это был аттракцион! А сейчас куда я поеду со своим ревматизмом? Кости не те.

– Да ты радуйся, что они целы, – говорит Козоле и ударяет кулаком по столу. – Вилли, музыку!

Хомайер с готовностью начинает бить в барабан и бубны. Настроение снова поднимается. Я спрашиваю Юппа, как ему понравилась толстуха. Он пренебрежительно машет рукой.

– Вот так так! – говорю я, ошарашенный. – Быстро это у тебя.

Юпп морщится:

– Понимаешь, я думал, что она меня любит. А она? Деньги, негодяйка, потребовала. Вдобавок я себе еще и колено расшиб об этот чертов стол, да так здорово, что едва хожу.

Людвиг Брайер сидит у стола бледный, молчаливый. Собственно говоря, ему давно следовало бы спать, но, видно, он не хочет уходить отсюда. Рука его заживает хорошо, и с дизентерией тоже полегче немного. Но он по-прежнему замкнут и невесел.

– Людвиг, – говорит Тьяден захмелевшим голосом, – пойдешь в сад. Это от всего помогает.

Людвиг отрицательно мотает головой и вдруг сильно бледнеет. Я подсаживаюсь к нему.

– Ты разве не рад, Людвиг, что мы скоро будем дома? – спрашиваю я.

Он встает и уходит. Я совершенно не понимаю его. Немного погодя выхожу за ним в сад. Он один. Я больше его ни о чем не спрашиваю. Мы молча возвращаемся назад.

В дверях сталкиваемся с Леддерхозе. Он собирается улизнуть в обществе толстухи. Юпп злорадно ухмыляется:

– Сейчас она ему преподнесет сюрприз!

– Не она ему, а он ей, – говорит Вилли. – Уж будьте покойны: Артур грошика из рук не выпустит.

Вино льется по столу, лампа чадит, юбки девушек развеваются. Какая-то теплая усталость укачивает меня, предметы приобретают расплывчатые очертания, как это иногда бывает с осветительными ракетами в тумане; голова медленно опускается на стол... Ночь, как чудесный экспресс, мягко мчит нас на родину; скоро мы будем дома.

III

В последний раз построились мы на казарменном дворе. Кое-кто из нашей роты живет поблизости. Этих отпускают. Остальным предлагается на свой страх и риск пробираться дальше. Поезда идут настолько нерегулярно, что группами нас перевозить не могут. Настал час расставания.

Просторный серый двор слишком велик для нас. Унылый ноябрьский ветер, пахнувший разлукой и смертью, метет по двору. Мы выстроились между столовой и караулкой. Больше места нам не требуется. Широкое пустое пространство будит тяжкие воспоминания. Незримо уходя в глубь двора, стоят бесконечные ряды мертвецов.

Хеель обходит роту. За ним беззвучным строем следуют тени его предшественников. Вот истекающий кровью, хлещущей из горла, Бертинк, с оторванным подбородком и скорбными глазами; полтора года он был ротным командиром, учитель, женат, четверо детей; за ним – с зеленым, землистым лицом Мюллер, девятнадцати лет, отравлен газами через три дня после того, как принял командование; следующий – Редеккер, лесовод, через две недели взорвавшимся снарядом был живьем врыт в землю. А там уже бледнеет отдаленнее Бютнер, капитан, выстрелом в сердце из пулемета убит во время атаки; дальше, уже безымянные призраки, – так они все далеки, – остальные: семь ротных командиров за два года. И свыше пятисот солдат. Во дворе казармы стоят тридцать два человека.

Хеель пытается сказать на прощание несколько слов. Но у него ничего не получается, и он умолкает. Нет на человеческом языке слов, которые могли бы устоять перед этим одиноким, пустынным казарменным двором, где, вспоминая товарищей, молча стоят редкие ряды уцелевших солдат и зябнут в своих потрепанных стоптанных сапогах.

Хеель обходит всех по очереди и каждому пожимает руку. Подойдя к Макс Вайлю, он, поджав губы, говорит:

- Ну вот, Вайль, вы и дождались своего времечка.
- Что ж, оно не будет таким кровавым, – спокойно отвечает Макс.
- И таким героическим, – возражает Хеель.
- Это не все в жизни, – говорит Вайль.
- Но самое прекрасное, – отвечает Хеель. – А что ж тогда прекрасно?

Вайль с минуту молчит. Затем говорит:

– То, что сегодня, может быть, звучит дико: добро и любовь. В этом тоже есть свой героизм, господин обер-лейтенант.

– Нет, – быстро отвечает Хеель, словно он уже не раз об этом думал, и лоб его страдальчески морщится. – Нет, здесь одно только мученичество, а это совсем другое. Героизм начинается там, где рассудок пасует: когда жизнь ставишь ни во что. Героизм строится на безрассудстве, опьянении, риске – запомните это. С рассуждениями у него нет ничего общего. Рассуждения – это ваша стихия. «Почему?.. Зачем?.. Для чего?..» Кто ставит такие вопросы, тот ничего не смыслит в героизме...

Он говорит с такой горячностью, точно хочет самого себя убедить. Его высохшее лицо нервно подергивается. За несколько дней он как-то сразу постарел, стал желчным. Но так же быстро изменился и Вайль: прежде он держался незаметно, и у нас никто его не понимал, а теперь он сразу выдвинулся и с каждым днем держит себя решительней. Никто и не предполагал, что он умеет так говорить. Чем больше нервничает Хеель, тем спокойнее Макс. Тихо, но твердо он произносит:

- За героизм немногих страдания миллионов – слишком дорогая цена.

– Слишком дорого... цена... целесообразность... Вот ваши слова. Посмотрим, чего вы добьетесь с ними.

Вайль оглядывает солдатскую куртку, которую все еще не снял Хеель:

– А чего вы добились вашими словами?

Хеель краснеет.

– Воспоминаний, – бросает он резко. – Хотя бы воспоминаний о таких вещах, которые за деньги не купишь.

Вайль умолкает.

– Да! Воспоминаний! – говорит он, окидывая взглядом пустынный двор и наши поредевшие ряды. – И страшной ответственности.

Мы мало что поняли из всего этого разговора. Нам холодно, и разговоры, по-нашему, ни к чему. Ими ведь мира не переделаешь.

Ряды распадаются. Начинается прощание. Сосед мой Мюллер поправляет ранец на плечах, зажимает под мышкой узелок с продовольствием и протягивает мне руку:

– Ну, прощай, Эрнст!

– Прощай, Феликс!

Он прощается с Вилли, Альбертом, Козоле...

Подходит Герхардт Поль, наш ротный запевала. Во время походов он всегда пел верхнего тенора: бывало, выждет, когда песня распадется на два голоса, и, набравшись как следует сил, во всю мочь запеваает на верхних нотах. Его смуглое лицо с большой бородавкой растроганно: он только что простился с Карлом Брегером, своим неизменным партнером в скат. Прощание оказалось нелегким.

– Прощай, Эрнст!

– Прощай, Герхардт!

Он уходит.

Ведекамп протягивает мне руку. Он у нас мастерил кресты для братских могил.

– Ну, Эрнст, до свидания. Так-таки не привелось сработать для тебя креста, а жаль: ладный был бы крестик – из красного дерева. Я даже припас для этой цели великолепную крышку от рояля.

– Может, еще пригодится, – отвечаю я. – Когда дело до этого дойдет, pošлю тебе открытку.

Он смеется:

– Держи ухо остро, паренек. Война еще не кончена.

Кривоплечий Ведекамп быстро семенит прочь.

Первая группа исчезает за воротами казармы. Ушли Шефлер, Фасбендер, маленький Луке и Август Бекман. За ними уходят другие. Нам становится не по себе. Трудно привыкнуть к мысли, что они ушли навсегда. До сих пор существовало только три возможности покинуть роту: смерть, ранение и откомандирование. Теперь к ним присоединилась еще одна – мир.

Как странно все. Мы так привыкли к воронкам и окопам, что нами вдруг овладевает недоверие к тишине полей и лесов, по которым мы сейчас разойдемся, как будто тишина лишь маскировка предательски минированных участков...

А наши товарищи ушли туда так беспечно, одни, без винтовок, без гранат. Хочется побежать за ними, хочется вернуть их, крикнуть: «Куда вы идете одни, без нас, мы должны быть вместе, нам нельзя расставаться, ведь невозможно жить иначе!»

В голове точно жернов вертится... Слишком долго мы были солдатами.

Ноябрьский ветер завывает на пустынном дворе казармы. Уходят наши товарищи. Еще немного – и каждый из нас опять будет один.

Нас осталось во дворе казармы несколько человек: нам по пути, и мы едем вместе. Располагаемся на вокзале, чтобы захватить какой-нибудь поезд. Вокзал – настоящий военный лагерь, заваленный сундучками, котомками, ранцами и плащ-палатками.

За семь часов проходят только два поезда. Виноградными гроздьями висят люди на ступеньках вагонов. Днем мы отвоевываем себе местечко поближе к рельсам. К вечеру мы продвигаемся вперед и занимаем самую лучшую позицию. Мы спим стоя.

Следующий поезд приходит на второй день к полудню. Это товарный состав, он везет слепых лошадей с фронта. Вывороченные белки животных сплошь в синеватых и багровых жилках. Лошади стоят неподвижно, вытянув шеи, и только в дрожащих ноздрях теплится жизнь.

Днем вывешивается объявление, что поездов сегодня больше не будет. Никто не трогается с места. Солдат не верит объявлениям. И в самом деле: вскоре показывается поезд. С первого взгляда ясно, что он нам подходит, – поезд полон разве что наполовину.

Вокзальные своды сотрясаются от грохота: наскоро собрав пожитки, бешеным потоком ринулись из зала ожидания еще не сформированные части и врезались в гущу ожидающих на перроне одиночек. Все это сплетается в какой-то бешеный клубок.

Поезд медленно подходит. Одно окно открыто. Мы подбрасываем Альберта Троске, самого легкого из нас, и он, как обезьяна, на ходу карабкается в вагон. В ту же минуту люди облепляют двери. Окна большей частью закрыты. Но вот зазвенели стекла под ружейными прикладами тех, кто любой ценой, хотя бы с израненными руками и ногами, решил попасть в поезд. Бросая одеяла поверх осколков, они берут поезд на абордаж.

Состав останавливается. Промчавшись по коридорам вагонов, Альберт рывком опускает перед нами окно. Тяден с собакой влезают первыми, за ними, с помощью Вилли, – Бетке и Козоле. Все трое тотчас же бросаются к дверям, чтобы блокировать купе с обеих сторон. Пожитки наши летят одновременно с Людвигом и Леддерхозе, за ними карабкается Валентин, затем я и Карл Брегер; последним прыгает Вилли, предварительно здорово поработав локтями и кулаками.

– Все здесь? – орет Козоле у дверей. Снаружи отчаянно ломаются.

– Все! – ревет Вилли.

Пулей устремляются Бетке, Козоле и Тяден на свои места, и люди стремительным потоком врываются в вагон, карабкаются в багажные сетки, заполняют каждый сантиметр.

Паровоз тоже атакуют. На буферах уже сидят. На крышах вагонов – полным-полно.

– Слезайте! Вам там снесет черепа! – кричит машинист.

– Заткнись! Без тебя знаем!... – раздается в ответ.

В уборную втиснулось пять человек. Один уселся в окне, свесив зад наружу.

Поезд трогается. Кое-кто, не удержавшись, падает. Двое попадают под колеса. Их уносят. На их место тотчас же прыгают другие. На подножках люди. Толчея не прекращается и на ходу.

Кто-то цепляется за ручку двери. Дверь раскрывается, и человек повисает в воздухе, уцепившись за раму окна. Вилли высовывается, хватая его сзади за шиворот и втаскивает внутрь.

Ночью наш вагон несет первые потери. Поезд проходил через низкий туннель. Несколько человек из тех, что были на крыше, раздавлены и сметены начисто. Их соседи видели катастрофу, но никак не могли остановить поезд. Солдат, устроившийся в окне уборной, уснул и вывалился на ходу. Во избежание новых жертв крыши оборудуются подпорками из чурок, штыков и шашек, переплетенных веревками. Кроме того, устанавливаются дежурные посты: их задача – предупреждать об опасности.

Мы спим, спим без конца, лежа, стоя, сидя, опустившись на корточки, скрючившись на ранцах и узелках. Поезд грохочет. Дома, деревья, сады; люди – они машут нам; шествия, красные знамена, патрули на вокзалах, крик, экстренные выпуски газет, революция... Нет, сначала

дайте нам выспаться, а потом уж все остальное. Только теперь по-настоящему чувствуешь, как страшно устал за все эти годы.

Вечер. Горит коптилка. Поезд медленно тащится. Часто и вовсе останавливается из-за всяких неисправностей.

Покачиваются ранцы. Дымят трубки. Собака, взобравшись ко мне на колени, мирно спит. Адольф Бетке перебирается ко мне и гладит ее.

– Ну вот, Эрнст! – помолчав, говорит он. – Пришло время нам расстаться.

Я киваю. Странно, но я совершенно не представляю себе, как буду жить без Адольфа, без его зорких глаз и спокойного голоса. Он взрастил меня и Альберта, пришедших на фронт неопытными новобранцами, и я думаю, что, не будь Бетке, я вряд ли остался бы в живых.

– Мы должны с тобой часто встречаться, Адольф. Непременно, – говорю я.

Меня ударяют каблуком по лбу. Над нами в багажной сетке сидит Тьяден и усердно пересчитывает свои деньги: он прямо с вокзала собирается в бордель. Чтобы заблаговременно настроиться соответствующим образом, он делится опытом с несколькими солдатами. Никто не воспринимает это как свинство: его охотно слушают, – речь ведь не о войне.

Сапер, у которого не хватает двух пальцев, рассказывает с гордостью, что его жена родила на седьмом месяце и все-таки ребенок весил целых три килограмма. Леддерхозе подымает его на смех: этого, мол, не бывает. Сапер не понимает и по пальцам считает месяцы между побывкой дома и рождением ребенка.

– Семь. Так оно и есть. Я не ошибся, – говорит он.

Леддерхозе икает, двусмысленная усмешка кривит его лимонно-желтое лицо:

– Значит, кто-нибудь за тебя постарался.

Сапер пристально смотрит на него.

– Что? Ты что там несешь такое? – говорит он, запинаясь.

– Что ж тут непонятного? – гнусавит, потягиваясь, Артур.

Сапера бросает в пот. Он снова считает. Губы у него дрожат. У окна корчится от смеха бородастый толстяк, обозный ездовой.

– Ох и осёл же, ну и осёл...

Бетке встает.

– Заткнись, толстомордый! – говорит он.

– Почему? – спрашивает бородач.

– Потому что заткнись. И ты тоже, Артур.

Сапер побледнел.

– Что мне теперь делать? – беспомощно бормочет он и высовывается из окна.

– Самое лучшее, – задумчиво изрекает Юпп, – жениться, когда дети совсем взрослые.

Тогда такая история никогда не произойдет.

За окнами тихо скользит вечер. Темными стадами легли на горизонте леса, поля слабо мерцают в тусклом свете, падающем из окон поезда. Нам осталось всего два часа пути. Бетке встает и приводит в порядок свой ранец. Он живет в деревне, за несколько остановок до города, и ему выходить раньше нашего.

Поезд останавливается. Адольф пожимает нам руки. Неловко спотыкаясь на маленьком перроне, он озирается, и взгляд его в одно мгновение впитывает в себя пейзаж, как иссохшее поле – дождевую влагу. Затем он поворачивается к нам, но уже ничего не слышит. Людвиг Брайер, хотя у него и сильные боли, стоит у окна.

– Двигай, Адольф, не жди, – говорит он. – Жена небось истосковалась...

Бетке, запрокинув голову, смотрит на нас:

– Ничего, Людвиг. Не к спеху.

Его со страшной силой тянет повернуться и пойти, это видно, но Адольф остается Адольфом – он до последней секунды не отходит от нас. Зато, едва трогается поезд, он быстро поворачивается и, широко шагая, уходит.

– Мы скоро навестим тебя! – кричу я ему вдогонку.

Нам видно, как он идет по полю. Он еще долго машет нам рукой. Пронесются клубы паровозного дыма. Вдали светится несколько красноватых огоньков.

Поезд делает большую петлю. Вот уже Адольф совсем маленький – черная точка, крохотный человечек, один среди широкого простора темнеющей равнины, над которой мощным куполом опрокинулось предгрозовое вечернее небо, сернисто-желтое по краям. Я не знаю почему – к Адольфу это прямого отношения не имеет, – но меня охватывает тревога при виде человека, одиноко бредущего под огромным куполом неба, по бескрайней равнине, в вечерней мгле.

Но вот надвигаются деревья, и сумрак густеет, и ничего уж нет – только движение, и небо, и леса.

В купе становится шумно. Здесь углы, выступы, запахи, тепло, пространство и границы; здесь – темные, обветренные лица с блестящими пятнами глаз, здесь воняет землей, потом, кровью и солдатской шинелью, а там, за окнами, под тяжелую поступь поезда уносится куда-то целый мир, целый мир остается позади, – он все дальше и дальше, мир воронок и окопов, мир тьмы и ужасов; он уже не больше чем вихрь, мечущийся за окнами, вихрь, которому нас не нагнать.

Кто-то заводит песню. Ее подхватывают. Вскоре поет все наше купе, соседнее, весь вагон, весь поезд. Мы поем все громче, все настойчивее, лбы краснеют, жилы набухают, мы поем все солдатские песни, которые знаем, незаметно для себя мы смотрим друг на друга, глаза блестят, колеса отчеканивают ритм, мы поем и поем...

Я зажат между Людвигом и Козоле и сквозь куртку ощущаю тепло их тел. Я шевелю руками, верчу головой, мускулы напрягаются, какая-то дрожь поднялась от колен к животу и словно шипучка бросается в легкие, в губы, в глаза, так что купе расплывается в тумане, я весь дрожу, как телеграфный столб в бурю, тысячи проводов звенят, раскрываются тысячи путей. Я медленно опускаю руку на руку Людвигу, мне кажется, я сейчас обожгу ее своим прикосновением. Но, когда Людвиг поднимает на меня глаза, усталый и бледный по обыкновению, я не в состоянии выразить того, что во мне происходит, и могу лишь с трудом, запинаясь, произнести:

– Сигарета есть, Людвиг?

Он дает мне сигарету. Поезд несется, а мы все поем, поем. Но вот к нашему пению примешивается какое-то злобное урчание, и сквозь стук колес в одну из пауз что-то с отчаянным треском раскалывается и долго перекачивается по равнине. Тучи сгустились – грянула гроза. Молнии вспыхивают, как близкий оружейный огонь. Козоле стоит у окна и покачивает головой:

– Вот так штука... Этакая грозица в такую пору, – говорит он, высовываясь в окно. Вдруг он вскрикивает: – Скорей! Скорей! Вот он!

Мы бросаемся к окнам. В свете молний на горизонте вонзаются в небо тонкие шпили городских башен. С каждым новым ударом грома они погружаются во мрак, но с каждой новой молнией они все ближе и ближе.

Глаза у нас горят от возбуждения. Внезапно, словно гигантское дерево, вырастает между нами, над нами, в нас – ожидание.

Козоле собирает свои вещи.

– Эх, братцы, где-то нам через год придется сидеть? – говорит он, расправляя плечи.

– На заднице, – нервно отрезает Юпп.

Но никто не смеется. Город наскочил на нас, он притягивает нас к себе. Вот раскинулся он и дышит, как живой в ослепительном свете молний, широкой волной надвигается он на нас,

а мы приближаемся к нему, – поезд солдат, поезд возврата на родину, возврата из небытия, поезд напряженнейшего ожидания. Ближе и ближе, мы бешено мчимся, стены бросаются нам навстречу, сейчас мы столкнемся, молнии сверкают, буйствуют громовые раскаты... Но вот уж по обе стороны вагона высоко пенится шумом и криками вокзал, грозовой ливень срывается с неба, платформа блестит от воды, и, не помня себя, мы кидаемся во всю эту сумятицу.

Со мной из вагона выскакивает собака. Она жметя ко мне, и под дождем мы вместе сбегает по ступенькам лестницы.

Часть вторая

I

Как вода, выплеснутая из ведра на мостовую, брызгами разлетаемся мы в разные стороны. Походным маршем двинулись вниз по Генрихштрассе Козоле с Брегером и Троске. С такой же поспешностью сворачиваем мы с Людвигом на Вокзальную аллею. Леддерхозе, не прощаясь, стрельнул от нас прочь, унося свой лоток с барахлом. Тяден торопливо расспрашивает Вилли, как побыстрее добраться до борделя, и только Юпп и Валентин никуда не спешат. Никто их не ждет, и они лениво тащатся пока в зал ожидания, чтобы поразведать насчет жратвы. Позднее они отправляются в казарму.

С деревьев Вокзальной аллеи падают дождевые капли; низко и быстро несутся тучи. Навстречу нам движется несколько солдат последнего призыва. На руках у них красные повязки.

– Долой погоны! – кричит один и бросается к Людвигу.

– Заткнись, желторотый! – говорю я, отталкивая его.

Сзади напирают остальные, и нас окружают. Людвиг, спокойно взглянув на переднего солдата, идет дальше. Тот уступает ему дорогу. Но откуда-то появляются два матроса и бросаются на Людвигу.

– Не видите, собаки, что это раненый? – рычу я и сбрасываю ранец, чтобы освободить руки.

Но Людвиг уже лежит на земле, раненая рука делает его почти беззащитным. Матросы рвут на нем китель, топчут Людвигу ногами.

– Офицеры! – раздается пронзительный женский визг. – Бей его, кровопийцу!

Я бросаюсь на выручку к Людвигу, но удар в лицо чуть не сбивает меня с ног.

– Сатана! – вырывается у меня со стоном, и я изо всех сил ударяю противника сапогом в живот. Охнув, он валится на бок. Меня мгновенно осаждают трое других. Собака бросается на одного из них. Но его товарищам все-таки удается меня повалить.

– Огонь гаси, точи ножи, – визжит женщина.

Сквозь топчущие ноги я вижу, как Людвиг свободной левой рукой душит матроса, которого ему удалось свалить ударом ноги под колени.

Он крепко держит его, хотя ему здорово попадает со всех сторон. Кто-то хлопает меня по голове пряжкой ремня, кто-то дает кулаком в зубы. Правда, Волк тут же впивается ему в колено, но встать нам никак не удастся, – они снова и снова валят нас наземь и собираются, как видно, истолочь в порошок. В бешенстве пытаюсь достать револьвер. В это мгновение один из моих противников, как сноп, валится на мостовую. Вслед за ним без сознания падают второй, третий. Это, конечно, работа Вилли. Не иначе.

Он примчался сюда во весь опор, ранец сбросил по дороге и вот теперь буйствует возле нас. Огромными своими ручищами хватает их по двое за шиворот и стучит головами друг о друга. Они без чувств валятся на мостовую, ибо, когда Вилли приходит в ярость, он превращается в настоящий паровой молот. Мы спасены, и я вскакиваю, но противники успевают удрать. Мне еще удастся запустить одному ранцем в спину, затем я спешно принимаюсь хлопотать над Людвигом.

А Вилли пустился в погоню. Он заметил обоих матросов, напавших на Людвигу. Один из них уже валяется в водосточной канаве, посиневший и стонущий, и над ним свирепо рычит наш Волк; за вторым Вилли еще гонится, рыжие волосы его развеваются, – это какой-то огнен-

ный вихрь. Повязка у Людвиг сорвана. Из раны сочится кровь. Лицо измазано, на лбу кровоподтек от удара сапогом. Он вытирает лицо и медленно поднимается.

– Здорово досталось? – спрашиваю я.

Мертвенно-бледный, он отрицательно качает головой.

Вилли между тем догнал матроса и мешком волочит его по земле.

– Свины треклятые, – хрипит он, – всю войну просидели на своих кораблях, как на даче, выстрела даже не слышали, а теперь осмеливаетесь разевать пасть и нападать на фронтовиков! Я вас проучу! На колени, крыса тыловая! Проси у него прощения!

Он с таким свирепым видом подталкивает матроса к Людвигу, что в самом деле страшно становится.

– В куски искрошу тебя, в клочья изорву! На колени! – шипит он.

Матрос визжит.

– Оставь, Вилли, – говорит Людвиг, собирая свои вещи.

– Что? – растерянно переспрашивает Вилли. – Ты спятил? После того, как они сапогами топтали твою больную руку?

Людвиг, не глядя, уже идет своей дорогой.

– Да отпусти ты его на все четыре стороны...

Вилли окончательно сбит с толку. Он смотрит на Людвиг ничего не понимающими глазами и, качая головой, отпускает матроса.

– Ну что ж, беги, если так! – говорит он. Но он не может отказать себе в удовольствии в ту секунду, когда матрос собирается улепетнуть, дать ему такого пинка, что тот, дважды перевернувшись, летит кувырком.

Мы идем дальше. Вилли ругается: когда он зол, он не может не говорить. Но Людвиг молчит.

Вдруг мы видим, как из-за угла Бирштрассе на нас опять наступает отряд убежавших. Они раздобыли подкрепление. Вилли снимает винтовку.

– Зарядить – и на предохранительный взвод! – командует он, и глаза его сужаются.

Людвиг вытаскивает револьвер, и я тоже беру ружье на изготовку. До сих пор вся история носила характер простой потасовки, теперь же дело, видимо, принимает серьезный оборот. Второго нападения на себя мы не допустим.

Рассыпавшись цепью на три шага друг от друга, чтобы не представлять сплошной мишени, идем в наступление. Собака сразу же поняла, что происходит. Ворча, она ползет рядом с нами по водосточной канаве, – на фронте она научилась красться под прикрытием.

– Ближе двадцати метров не подходи: стрелять будем! – грозно кричит Вилли.

Противник в замешательстве. Мы продолжаем двигаться вперед. На нас направлены дула винтовок. Вилли с шумом откидывает предохранитель и снимает с пояса ручную гранату, свой неприкосновенный запас.

– Считаю до трех...

От неприятельского отряда отделяется вдруг уже немолодой человек в унтер-офицерской форме, но без нашивок. Выйдя вперед, он кричит нам:

– Товарищи мы вам или нет?

От неожиданности Вилли даже поперхнулся.

– Черт возьми, а мы вам о чем все время твердим, трусы несчастные! – огрызается Вилли. – Кто первый напал на раненого?

Унтер-офицер поражен.

– Это правда, ребята? – спрашивает он своих.

– Он отказался снять погоны... – отвечает ему кто-то.

Унтер-офицер нетерпеливо машет рукой и снова поворачивается к нам:

– Этого не надо было делать, ребята. Но вы, верно, даже не знаете, что у нас здесь происходит. Откуда вы?

– С фронта. А то откуда же? – фыркает Вилли.

– А куда идете?

– Туда, где вы просидели всю войну, – домой.

– Вот, – говорит унтер-офицер, поднимая свой пустой рукав, – это я не в собственной спальне потерял.

– Тем позорнее тебе водить компанию с этими оловянными солдатиками, – равнодушно откликается Вилли.

Унтер-офицер подходит ближе.

– У нас революция, – твердо заявляет он, – и кто не с нами, тот против нас.

Вилли смеется:

– Хороша революция, если ваше единственное занятие – срывать погоны... Если это все, чего вы добиваетесь... – Вилли презрительно сплевывает.

– Нет, далеко не все! – говорит однорукий и быстро вплотную подходит к Вилли. – Мы требуем: конец войне, конец травле, конец убийствам! Мы больше не хотим быть военными машинами! Мы снова хотим стать людьми!

Вилли опускает руку с гранатой.

– Подходящее начало, – говорит он, показывая на растерзанную повязку Людвигу. В два прыжка он подскакивает к солдатам. – Марш по домам, молокососы! – рявкает он вслед отступающему отряду. – Вы хотите стать людьми? Но ведь вы даже еще не солдаты. Страшно смотреть, как вы винтовку держите. Вот-вот руки себе переломаете.

Толпа рассеивается. Вилли поворачивается и во весь свой огромный рост выпрямляется перед унтер-офицером:

– Так, а теперь я скажу кое-что и тебе. Мы тоже по горло сыты всей этой мерзостью. Что надо положить конец – ясно. Но только не таким манером. Если мы что делаем, то делаем по собственной воле, а командовать собой пока еще никому не дадим! Ну, а теперь раскрой-ка глаза, да пошире! – Двумя движениями он срывает с себя погоны: – Делаю это потому, что я так хочу, а не потому, что вам этого хочется! Это мое личное дело. Ну, а тот, – он показывает на Людвигу, – наш лейтенант, и погоны на нем останутся, и горе тому, кто скажет хоть слово против.

Однорукий кивает. Лицо его выражает волнение.

– Ведь я тоже был на фронте, чудак ты, – с усилием говорит он, – я тоже знаю, чем это пахнет. Вот... – волнуясь, он протягивает свой обрубок. – Двадцатая пехотная дивизия. Верден.

– Тоже там побывали, – следует лаконичный ответ Вилли. – Ну, значит, прощай!

Он надевает ранец и поднимает винтовку. Мы трогаемся в путь. Когда Людвиг проходит мимо унтер-офицера с красной нарукавной повязкой, тот берет под козырек, и нам ясно, что он хочет этим сказать: отдаю честь не мундиру и не войне, я приветствую товарища-фронтовика.

Вилли живет ближе всех. Растроганно кивает он в сторону маленького домика:

– Привет тебе, старая развалина! Пора и в запас, на отдых!

Мы останавливаемся, собираясь прощаться. Но Вилли протестует.

– Сперва Людвиг доставим домой, – заявляет он воинственно. – Картофельный салат и мамашины нотации от меня не убегут.

По дороге еще раз останавливаемся и по мере возможности приводим себя в порядок, – не хочется, чтобы домашние видели, что мы прямо из драки. Я вытираю Людвигу лицо, перематываю ему повязку так, чтобы скрыть вымазанные кровью места, а то мать его может испугаться. Потом-то ему все равно придется пойти в лазарет.

Без новых помех доводим Людвигу до дому. Вид у Людвигу все еще измученный.

– Да ты плюнь на всю эту историю, – говорю я и протягиваю ему руку.

Вилли обнимает его своей огромной лапищей за плечи:

– Со всеми может случиться, старина. Если бы не твоя рана, ты изрубил бы их, как капусту.

Людвиг, молча кивнув нам, открывает входную дверь. Опасаясь, хватит ли у него сил дойти, мы ждем, пока он поднимается по лестнице. Он уже почти наверху, но вдруг Вилли осеняет какая-то мысль.

– В другой раз, Людвиг, бей сразу ногой, – напутствует он его, задрав голову кверху, – ногой, ногой! Ни за что не подпускай к себе! – и, удовлетворенный, захлопывает дверь.

– Дорого бы я дал, чтобы знать, почему он так угнетен в последнее время, – говорю я.

Вилли почесывает затылок.

– Все из-за поноса, – отвечает он. – Иначе он бы... Помнишь, как он прикончил танк под Биксшотом? Один-одинешенек! Не так-то просто, брат.

Он поправляет ранец на спине:

– Ну, Эрнст, будь здоров! Пойду погляжу, каково это жилось семейству Хомайеров за последние полгода. Трогательные разговоры, по моим расчетам, займут не больше часа, а потом пойдет педагогика.

Моя мамаша – о, брат! Вот был бы фельдфебель! Золотое сердце у старушки, но оправа гранитная! Я остаюсь один, и мир сразу преображается. В ушах шумит, словно под камнями мостовой несется поток, и я ничего вокруг себя не слышу и не вижу, пока не дохожу до нашего дома. Медленно поднимаюсь по лестнице. Над нашей дверью красуется надпись: «Добро пожаловать», а сбоку торчит букет цветов. Родные увидели меня издали, и все вышли встречать. Мать стоит впереди, на самой площадке, за ней отец, сестры... В открытую дверь видна наша столовая, накрытый стол. Все очень торжественно.

– К чему эти глупости? – говорю я. – Цветы и все прочее... Зачем? Не так уж важно, что... Что ты плачешь, мама? Я ведь здесь, и война кончилась... Чего же плакать...

И только потом чувствую, что сам глотаю соленые слезы.

II

Мы поужинали картофельными оладьями с колбасой и яйцами – чудесное блюдо! Яиц я почти два года и в глаза не видел, а о картофельных оладьях – говорить нечего.

Сытые и довольные, сидим мы вокруг стола в нашей столовой и попиваем желудевый кофе с сахарином. Горит лампа, поет канарейка, даже печь натоплена. Волк лежит под столом и спит. Так хорошо, что лучше быть не может.

– Ну, Эрнст, расскажи, где ты бывал, что видел? – спрашивает отец.

– Что видел? – повторяю я, подумав. – Да что, в сущности, я мог видеть? Ведь все время воевали. Что ж там было видеть?

Как ни ломаю голову, ничего путного не приходит на ум. О фронтовых делах со штатскими, естественно, говорить не станешь, а другого я ничего не знаю.

– У вас-то здесь наверняка гораздо больше новостей, – говорю я в свое оправдание.

О да, новостей немало. Сестры рассказывают, как они ездили в деревню раздобывать продукты для сегодняшнего ужина. Дважды у них все отбирали на вокзале жандармы. На третий раз они зашили яйца в подкладку пальто, картофель спрятали в сумки, подвешенные под юбками, а колбасу заткнули за блузки. Так и проскочили.

Я слушаю их не очень внимательно. Они выросли с тех пор, как я видел их в последний раз. Возможно, что я тогда попросту ничего не замечал, но тем сильнее это бросается в глаза теперь. Ильзе, вероятно, уже перевалило за семнадцать. Как время летит!

– Слышал, советник Плайстер умер? – спрашивает отец.

Я отрицательно качаю головой:

– Нет, не слыхал. Когда?

– В июле. Числа двадцатого.

На печке запекает чайник. Я перебираю бахрому скатерти. Так, так, в июле, думаю я, в июле; за последние пять дней июля мы потеряли тридцать шесть человек. Я с трудом мог бы назвать теперь имена троих из этих тридцати шести, так много погибло после них.

– А что с ним было? – вяло спрашиваю я, отяжелев от непривычного тепла. – Осколком или пулей?

– Да что ты, Эрнст, – удивляется отец моему вопросу, – он ведь не солдат! У него было воспаление легких.

– Ах, да! – говорю я, выпрямляясь на своем стуле. – Бывает еще и такое.

Они рассказывают обо всем, что произошло со времени моей последней побывки. Голодные женщины до полусмерти избили хозяина мясной на углу. Как-то, в конце августа, на семью выдали по целому фунту рыбы. У доктора Кнотта украли собаку и, верно, пустили ее на мыло. Фройляйн Ментруп родила ребеночка. Картофель опять вздорожал. На будущей неделе на бойне, говорят, будут выдавать кости. Вторая дочь тети Греты в прошлом месяце вышла замуж, и – представь! – за ротмистра...

По стеклам окон стучит дождь. Я поеживаюсь. Как странно сидеть в комнате. Странно быть дома...

Сестра вдруг умолкает.

– Ты совсем не слушаешь, Эрнст, – удивленно говорит она.

– Да нет же, слушаю, – уверяю я ее и изо всех сил стараюсь взять себя в руки. – За ротмистра, ну да, она вышла замуж за ротмистра.

– Да, понимаешь, как ей повезло! – живо продолжает сестра. – А ведь у нее все лицо в веснушках. Что ты на это скажешь?

Что мне сказать? Если шрапнель попадает в голову ротмистра, то ротмистр точно так же испустит дух, как и всякий другой смертный.

Родные продолжают болтать, но я никак не могу собрать своих мыслей: они все время разбредаются.

Встаю и подхожу к окну. На веревке висит пара кальсон. Серея в сумерках, они будто лениво покачиваются. Брезжит белесоватая мгла раннего вечера. И вдруг передо мной, призрачно и отдаленно, встает другая картина. Покачивающееся на ветру белье, одинокая губная гармоника в вечерний час, ночной поход... Трупы негров в выцветших голубых шинелях; губы убитых растрескались, глаза налиты кровью... Газ. На миг все это четко возникает передо мной, потом, всколыхнувшись, исчезает, и опять покачиваются на веревке кальсоны, брезжит белесоватая мгла, и опять я ощущаю за спиной комнату, и родных, и тепло, и надежные стены.

Все это уже прошлое, думаю я с облегчением и быстро отворачиваюсь от окна.

– Что с тобой, Эрнст? – спрашивает отец. – Ты и четверти часа не посидишь на месте.

– Это, наверное, от усталости, – полагает мать.

– Нет, – говорю я в каком-то смятении и стараюсь разобраться в себе, – нет, не то. Но я, кажется, действительно, не могу долго усидеть на стуле. На фронте у нас не было стульев, мы валялись где попало. Я просто отвык.

– Странно, – говорит отец.

Я пожимаю плечами. Мать улыбается.

– Ты еще не был у себя в комнате? – спрашивает она.

– Нет, – говорю я и отправляюсь к себе.

Я открываю дверь. От знакомого запаха невидимых в темноте книг у меня бьется сердце. Нетерпеливо включаю свет. Затем оглядываюсь.

– Все осталось как было, – говорит за моей спиной сестра.

– Да, да, – отвечаю я, лишь бы отделаться: мне хочется побыть одному.

Но все уже здесь. Они стоят в дверях и ободряюще поглядывают на меня. Я сажусь в кресло и кладу руки на стол. Какой он удивительно гладкий и прохладный! Да, все на старом месте. Вот и пресс-папье из коричневого мрамора – подарок Карла Фогта. Оно стоит на своем месте, между компасом и чернильницей. А Карл Фогт убит на Кеммельских высотах.

– Тебе разонравилась твоя комната? – спрашивает сестра.

– Нет, почему же? – нерешительно говорю я. – Но она какая-то маленькая...

Отец смеется:

– Какая была.

– Конечно, – говорю я, – но почему-то мне казалось, что она гораздо просторней.

– Ты так давно не был здесь, Эрнст! – говорит мать. Я молча киваю. – На кровать, пожалуйста, не смотри. Я еще не сменила белья.

Я ощупываю карман своей куртки. Адольф Бетке подарил мне на прощание пачку сигар. Мне хочется закурить. Все вокруг стало каким-то зыбким, как при головокружении. Я жадно вдыхаю табачный дым, и сразу становится легче.

– Как? Ты куришь сигары? – удивленно и чуть ли не с упреком говорит отец.

Я недоуменно вскидываю на него глаза:

– Разумеется; они входили на фронте в наш паек; мы получали по три-четыре штуки ежедневно. Хочешь?

Покачивая головой, он берет сигару:

– Раньше ты совсем не курил.

– Да, раньше... – говорю я, чуть посмеиваясь над тем, что он придает этому такое значение. Раньше я бы, конечно, не позволил себе смеяться над отцом. Но почтение к старшим испарилось в окопах. Там все были равны.

Украдкой поглядываю на часы. Я здесь каких-нибудь два часа, но мне кажется, что месяцы прошли с тех пор, как я расстался с Вилли и Людвигом. Охотнее всего я бы немедленно

помчался к ним, я еще не в состоянии освоиться с мыслью, что останусь в семье навсегда, мне все еще чудится, что завтра ли, послезавтра ли, но мы снова будем маршировать, плечо к плечу, кляня все и вся, покорные судьбе, но сплоченные воедино.

Наконец я встаю и приношу из передней шинель.

– Ты разве не проведешь этот вечер с нами? – спрашивает мать.

– Мне нужно еще явиться в казарму, – говорю я. Ведь истинной причины ей все равно не понять.

Она выходит со мной на лестницу.

– Подожди, – говорит она, – здесь темно, я тебе посвечу...

От неожиданности я останавливаюсь. Посветить? Для того, чтобы сойти по этим нескольким ступенькам? О господи, по скольким топким воронкам, по скольким разрытым дорогам приходилось мне по ночам пробираться под ураганным огнем и в полной темноте! А теперь, оказывается, мне нужен свет, чтобы сойти по лестнице! Ах, мама, мама! Но я терпеливо жду, пока она принесет лампу. Мать светит мне, и мне кажется, будто она в темноте гладит меня по лицу.

– Будь осторожен, Эрнст, – напутствует она меня, – не случилось бы чего с тобой!

– Что же со мной может случиться, мама, здесь, на родине, когда наступил мир? – говорю я и улыбаюсь ей.

Она перегибается через перила. От абажура на ее маленькое, изрезанное морщинами лицо падает золотистый отблеск. За ней призрачно зыблются свет и тени. И вдруг что-то волной поднимается во мне, какое-то особенное умиление сжимает мне сердце, почти страдание, – словно нет в мире ничего, кроме этого лица, словно я опять дитя, которому нужно светить на лестнице, мальчуган, с которым на улице может что-нибудь случиться; и кажется мне, будто все – между вчера и сегодня – лишь сон и наваждение...

Но свет лампы резко блеснул на пряжке моего ремня. Мгновение промелькнуло. Нет, я не дитя, на мне солдатская шинель. Быстро, прыгая через две-три ступеньки, я сбегая вниз и толкаю дверь, горя нетерпением поскорее повидать товарищей.

Первый, к кому я захожу, это Альберт Троске. У матери его заплаканные глаза. Сегодня, видно, так уж полагается, и ничего страшного в этом нет. Но и Альберт не похож на себя: понурый, точно побитая собачонка, сидит он за столом. Рядом с ним – его старший брат. Я его целую вечность не видел и знаю лишь, что он долго лежал в лазарете. Он пополнел, у него здоровое, румяное лицо.

– Привет, Ганс! – весело говорю я. – Ты совсем уж молодцом. Ну, как живешь-можешь? На двух ногах-то лучше, чем в лежку лежать, а?

Он бормочет в ответ что-то невнятное. Фрау Троске всхлипывает и выходит из комнаты. Альберт делает мне знак глазами. Ничего не понимая, оглядываюсь – и только теперь вижу возле стула Ганса костыли.

– Ты все еще не поправился? – спрашиваю я.

– Поправляюсь понемногу, – отвечает Ганс. – На прошлой неделе выписался.

Он берет костыли и, опираясь на них, двумя прыжками перебрасывает себя к печке. У него ампутированы ступни. На правой ноге – железный протез, на левой – искусственная нога в башмаке.

Я стыжусь своих неловких вопросов.

– Прости, Ганс. Я не знал, – говорю я.

Ганс кивает. Он отморозил ноги в Карпатах, осложнилось гангреной, и в конце концов пришлось сделать ампутацию.

– Слава богу, что хоть одни ступни, не выше. – Фрау Троске принесла подушку и кладет ее под ноги Гансу. – Ничего, Ганс, поправишься как следует и будешь ходить, как все. – Она садится рядом с сыном и нежно гладит ему руки.

– Да, – говорю я, только бы что-нибудь сказать, – хорошо хоть, что только ступни.

– С меня и этого хватит, – отвечает Ганс.

Я протягиваю ему сигарету. Что делать в такие минуты? Что бы ни сказать, даже с самыми лучшими намерениями, все покажется грубым. Мы, правда, разговариваем о чем-то, с усилием и паузами, но когда кто-нибудь из нас, Альберт или я, встаем и двигаемся по комнате, Ганс смотрит на наши ноги потемневшим измученным взглядом, и глаза матери устремляются туда же, и оба, мать и сын, неотрывно глядят нам только на ноги, провожают взглядом вперед, назад: у вас есть ноги – у меня нет...

Вероятно, он теперь ни о чем другом думать не в состоянии, а мать всецело поглощена им. Она не видит, что Альберт от этого страдает. За несколько часов пребывания дома он совсем приуныл.

– Нам еще нужно сегодня в казарму, Альберт, – говорю я, подсказывая ему удобный предлог, чтобы уйти. – Пошли?

– Да, – мгновенно откликается он.

На улице мы облегченно вздыхаем. Вечерние огни мягко отражаются в мокром асфальте. Фонари мигают на ветру. Альберт уставился куда-то в пространство.

– Я ведь ничем не могу помочь – с усилием говорит он, – но, когда я с ними, когда я вижу его и мать, мне все кажется, будто я в чем-то виноват, я прямо-таки стыжусь своих здоровых ног. Чувствуешь себя негодяем оттого, что ты цел и невредим. Хоть бы руку мне прострелило, как Людвигу, тогда бы не было этого вызывающего здоровья.

Я пытаюсь его утешить. Но он глядит в сторону. Мои слова его не убеждают, но мне они приносят облегчение. Ведь так всегда бывает, когда утешаешь.

Мы идем к Вилли, в его комнате все вверх дном. Разобранная кровать стоит у стены. Кровать необходимо удлинить – на войне Вилли так вырос, что не помещается на ней. Повсюду разбросаны доски, молотки, пилы. На стуле красуется огромная миска с картофельным салатом. Вилли в комнате нет. Его мать сообщает нам, что он уже с час находится в прачечной – решил соскоблить с себя грязь. Мы ждем.

Фрау Хомайер, стоя на коленях, роется в ранце сына. Покачивая головой, она вытаскивает оттуда какую-то грязную рвань, которая некогда именовалась носками.

– Дыра на дыре, – ворчит она, укоризненно глядя на меня и Альберта.

– Товар военного времени, – говорю я, пожимая плечами.

– Товар военного времени? Скажи пожалуйста, какой всезнайка! Шерсть первого сорта! Я целую неделю бегала, пока раздобыла их, а сейчас хоть выбрось. Теперь таких не достанешь! – Она огорченно исследует жалкие лохмотья. – Даже на фронте можно было бы урвать минутку и хоть раз в неделю наскоро переменить пару носков. В последний раз, когда он был дома, я дала ему с собой четыре пары. И только две он привез назад. Да еще в таком виде! – Она проводит рукой по дырам.

Только я собрался было взять Вилли под свою защиту, как он сам, ликующий, с отчаянным шумом ввалился в комнату:

– Вот это называется повезло! Кандидат в суповую кастрюлю! Ну, ребята, у нас сегодня куриное фрикасе!

В высоко поднятой руке Вилли держит, как знамя, огромного петуха. Золотисто-зеленые перья петушиного хвоста радужно переливаются, гребень алеет пурпуром, на клюве повисли капельки крови. Хоть я и сытно поел, но у меня текут слюнки.

Вилли в упоении размахивает петухом. Фрау Хомайер поднимается с колен и испускает крик:

– Где ты взял его, Вилли?

Вилли с гордостью рапортует, что он только что высмотрел петуха за сараем, поймал и зарезал, и все это – в две минуты. Он похлопывает мать по плечу:

– Этому мы научились на фронте. Недаром Вилли часто замещал повара!

Она смотрит на сына так, точно он проглотил бомбу. Потом зовет мужа и в изнеможении стонет:

– Оскар, посмотри, что он натворил: он зарезал племенного петуха Биндингов!

– При чем тут Биндинги! – недоумевает Вилли.

– Да ведь это петух молочника Биндинга, нашего соседа! О боже, и как только у тебя рука поднялась?

Фрау Хомайер в отчаянии опускается на стул.

– Не стану же я упускать такое жаркое? Тут уж руки как-то сами действуют.

Фрау Хомайер не может успокоиться:

– Теперь пойдет катавасия! Биндинг такой вспыльчивый!

– За кого ты, собственно, меня принимаешь, мама? – говорит Вилли, не на шутку обидавшись. – Неужели ты думаешь, что меня хоть одна живая душа видела? Новичок я, что ли? Это по счету десятый петух, которого я изловил. Юбилейный петух! Можем есть его со спокойной совестью: твой Биндинг и не догадается ни о чем.

Вилли умильно смотрит на петуха:

– Смотри у меня, будь вкусным... Мы его сварим или зажарим?

– Неужели ты думаешь, что я хоть крошечку съем от этого петуха? – исступленно кричит фрау Хомайер. – Сейчас же отнеси его назад!

– Ну, я пока еще с ума не сошел, – заявляет Вилли.

– Но ты же украл его! – стонет она.

– Украл? – Вилли раздражается хохотом. – Вот сказала! Я его реквизировал! Раздобыл! Нашел! А ты – украл! О краже еще можно говорить, когда берут деньги, а не все то, что идет на жратву. В таком случае, Эрнст, мы с тобой немало поворовали, а?

– Ну конечно, Вилли, – говорю я, – петух сам попался тебе в руки. Как тот петух командира второй батареи в Штадене. Помнишь, как ты тогда на всю роту приготовил куриное фри-касе. По рецепту: на одну курицу – одна лошадь.

Вилли, польщенный, ухмыляется и пробует рукой плиту.

– Холодная, – разочарованно тянет он и обращается к матери: – У вас что, угля нет?

От треволнений фрау Хомайер лишилась языка. Она в состоянии лишь покачать головой. Вилли успокаивает ее:

– Завтра раздобудем и топливо. А на сегодня возьмем этот стул: ему все равно пора на свалку.

Фрау Хомайер в ужасе смотрит на сына. Потом вырывает у него из рук сначала стул, затем петуха и отправляется к молочнику Биндингу.

Вилли искренне возмущен.

– «Уходит он, и песня замолкает», – мрачно декламирует он. – Ты что-нибудь во всей этой истории понимаешь, Эрнст?

Что нельзя взять на растопку стул, хотя на фронте мы сожгли однажды целое пианино, чтобы сварить гнедую, в яблоках, кобылу, это, на худой конец, я еще могу понять. Пожалуй, понятно и то, что здесь, дома, не следует потакать произвольным движениям рук, которые хватают все, что плохо лежит, хотя на фронте добыть жратву считалось делом удачи, а не морали. Но что петуха, который все равно уже зарезан, надо вернуть владельцу, тогда как

любому новобранцу ясно, что, кроме неприятностей, это ни к чему не приведет, – по-моему, верх нелепости.

– Если здесь поведется такая мода, то мы еще с голоду подохнем, вот увидишь, – возбужденно утверждает Вилли. – Будь мы среди своих, мы бы через полчаса лакомились роскошнейшим фрикасе. Я приготовил бы его под белым соусом.

Взгляд его блуждает между плитой и дверью.

– Знаешь что, давай смоемся, – предлагаю я. – Здесь уж очень сгустилась атмосфера.

Но тут как раз возвращается фрау Хомайер.

– Его не было дома, – говорит она, запыхавшись, и в волнении собирается продолжать свою речь, но вдруг замечает, что Вилли в шинели. Это сразу заставляет ее забыть все остальное. – Как, ты уже уходишь?

– Да, мама, мы идем в обход, – говорит он, смеясь.

Она начинает плакать. Вилли смущенно похлопывает ее по плечу:

– Да ведь я скоро вернусь! Теперь мы всегда будем возвращаться. И очень часто. Может быть, даже слишком часто.

Плечо к плечу, широко шагая, идем мы по Шлосштрассе.

– Не зайти ли нам за Людвигом? – предлагаю я.

Вилли отрицательно мотает головой:

– Пусть лучше спит. Полезней для него.

В городе беспокойно. Грузовики с матросами в кузове мчатся по улицам. Развешаются красные знамена.

Перед ратушей выгружают целые вороха листовок и тут же раздают их. Толпа рвет их из рук матросов и жадно пробегает по строчкам. Глаза горят. Порыв ветра подхватывает пачку прокламаций: покружив в воздухе, они, как стая белых голубей, опускаются на голые ветви деревьев и, шелестя, повисают на них.

– Братцы, – говорит возле нас пожилой человек в солдатской шинели, – братцы, наконец-то мы заживем получше. – Губы его дрожат.

– Черт возьми, тут, видно, что-то дельное заваривается, – говорю я.

Мы ускоряем шаг. Чем ближе к собору, тем больше толчея. На площади полно народу. Перед театром, взобравшись на ступеньки, ораторствует солдат. Меловой свет карбидной лампы дрожит на его лице. Нам плохо слышно, что он говорит, – ветер неровными затяжными порывами с воем проносится по площади, принося со стороны волны органичных звуков, в которых тонет высокий отрывистый голос солдата.

Беспокойное ожидание чего-то неведомого нависло над площадью. Толпа стоит сплошной стеной. За редким исключением все – солдаты. Многие с женами. На молчаливых, замкнутых лицах то же выражение, что на фронте, когда из-под стального шлема глаза высматривают врага. Но сейчас во взглядах мелькает еще и другое: предчувствие будущего, неуловимое ожидание новой жизни.

Со стороны театра слышны возгласы. Им отвечает глухой рокот.

– Ну, ребята, кажется, будет дело! – с восторгом восклицает Вилли.

Лес поднятых рук. По толпе пробегает волна. Ряды приходят в движение. Строятся в колонны. Раздаются призывы: «Товарищи, вперед!» Мерный топот демонстрантов – как мощное дыхание. Не раздумывая, вливаемся в колонну.

Справа от нас шагает артиллерист. Впереди – сапер. Группа примыкает к группе. Знакомых друг с другом мало. Но это не мешает нам сейчас же сблизиться с теми, кто шагает рядом. Солдатам незачем предварительно знакомиться. Они – товарищи, этого достаточно.

– Пошли, Отто, чего стоишь? – кричит идущий впереди сапер солдату, отошедшему в сторону.

Тот в нерешительности – с ним жена. Взглянув на него, она берет его под руку. Он смущенно улыбается:

– Попозже, Франц.

Вилли корчит гримасу:

– Ну вот: стоит только юбке вмешаться, и всей дружбе конец. Помяните мое слово!

– Ерунда! – говорит сапер и протягивает Вилли сигарету. – Бабы – это полжизни. Только всему свое время.

Мы невольно шагаем в ногу. Но это не просто шаг солдатских колонн. Земля гудит, и молнией вспыхивает над марширующими рядами безумная, захватывающая дыхание надежда, как будто путь этот ведет прямо в царство свободы и справедливости.

Однако уже через несколько сот метров процессия останавливается перед домом бургомистра. Несколько рабочих стучат в парадную дверь. Никто не откликается. На мгновение за окнами мелькает бледное женское лицо. Стук в дверь усиливается, и в окно летит камень. За ним – второй. Осколки разбитого стекла со звоном сыплются в палисадник.

На балконе второго этажа появляется бургомистр. Крики несутся ему навстречу. Он что-то пытается объяснить, но его не слушают.

– Давай сюда! – кричат в толпе.

Бургомистр пожимает плечами и кивает. Несколько минут спустя он шагает во главе процессии.

Вторым извлекается из дому начальник продовольственной управы. Затем очередь доходит до перепуганного плешивого субъекта, который, по слухам, спекулировал маслом. Некогого торговца зерном нам захватить уже не удастся: он заблаговременно сбежал, заслышав о нашем приближении.

Колонны направляются к Шлоссхофу и останавливаются перед окружным военным управлением. Один из солдат быстро взбегаёт по лестнице и исчезает за дверью. Мы ждем. Все окна освещены.

Наконец дверь открывается. Мы с нетерпением вытягиваем шеи. Выходит какой-то человек с портфелем. Порывшись в нем, он вытаскивает несколько листочков и ровным голосом начинает читать речь. Мы напряженно слушаем. Вилли приложил ладони к своим огромным ушам. Он на голову выше остальных, поэтому ему лучше слышно, и он повторяет нам отдельные фразы. Но слова оратора плещут через наши головы, все куда-то мимо, мимо... Они роятся и умирают, но нас они не трогают, не увлекают, не встряхивают, они только плещут и плещут.

Нас охватывает беспокойство. Мы не понимаем: что происходит? Мы привыкли действовать. Ведь это революция! Значит, нужно что-то делать. Но человек наверху все только говорит да говорит. Он призывает к спокойствию и благоразумию, хотя все стоят очень тихо и спокойно.

Наконец он уходит.

– Кто это? – разочарованно спрашиваю я.

Сосед-артиллерист хорошо осведомлен:

– Председатель Совета рабочих и солдатских депутатов. В прошлом, кажется, зубной врач.

– Гм, – мычит Вилли и разочарованно вертит по сторонам рыжей головой. – Чертовщина какая-то! А я-то думал, идем к вокзалу, а оттуда прямехонько на Берлин.

Выкрики из толпы становятся все громче, все настойчивей. Требуют бургомистра. Его подталкивают к лестнице.

Спокойным голосом бургомистр заявляет, что все требования будут внимательнейшим образом рассмотрены. Оба спекулянта стоят рядом с ним и трясутся. Они даже вспотели от

страха, хотя их никто не трогает. На них, правда, покрикивают, но никто не решается первым поднять на них руку.

– Ну что ж, – говорит Вилли, – по крайней мере хоть бургомистр не трус.

– А он привык, – откликается артиллерист, – его каждые два-три дня вытаскивают...

Мы изумлены.

– Часто у вас такие истории происходят? – спрашивает Альберт.

Артиллерист кивает:

– Видишь ли, с фронта все время прибывают новые войска и все по очереди воображают, что именно они должны навести порядок. На этом обычно дело и кончается...

– Непонятно, – говорит Альберт.

– Вот и я ничего не понимаю, – соглашается артиллерист, зевая во всю глотку. – Я думал, что все это будет иначе. А теперь адью, ребята, покачусь-ка я в свой клоповник. Самое правильное.

За ним следуют другие. Площадь заметно пустеет. Говорит второй депутат. Он тоже призывает к спокойствию. Руководители сами обо всем позаботятся. Они уже за работой, говорит он, указывая на освещенные окна. Лучше всего, мол, разойтись по домам.

– Черт побери, и это все? – говорю я с досадой.

Мы кажемся себе чуть ли не смешными: чего ради мы потащились за всеми? Что нам нужно было?

– Дерьмо, – говорит Вилли разочарованно.

Пожимаем плечами и лениво плетемся дальше.

Некоторое время мы еще бродим по улицам, затем прощаемся. Я довожу Альберта до дому и остаюсь один. Странное чувство охватывает меня: теперь, когда я один и рядом нет моих товарищей, мне начинает казаться, что все вокруг тихо заколебалось и утрачивает реальность. Все, что только сейчас было прочно и незыблемо, вдруг преобразается и предстает передо мной в таком поражающе новом и непривычном виде, что я не знаю, не грезится ли мне все это. На самом ли деле я здесь? На самом ли деле я дома?

Вот лежат улицы, спокойные, одетые в камень с гладкими, поблескивающими крышами, без зияющих дыр и трещин от разрывов снарядов; нетронутые, громоздятся в голубой ночи стены домов, темные силуэты балконов и шпилей словно вырезаны на густой синеве неба, ничто не изгрызено зубами войны, в окнах все стекла целы, и за светлыми облаками занавесей живет под сурдинку особый мир, не тот ревущий мир смерти, который так долго был моим.

Я останавливаюсь перед домом, нижний этаж которого освещен. Едва слышно доносятся звуки музыки. Шторы задернуты только наполовину. Видно, что происходит внутри.

У рояля сидит женщина и играет. Она одна. Свет высокой стоячей лампы падает на белые страницы нот. Все остальное тает в многокрасочном полумраке. Здесь тихо и мирно живут диван и несколько мягких кресел. На одном кресле спит собака.

Как зачарованный гляжу я на эту картину. И только когда женщина встает из-за рояля и легкой, бесшумной походкой идет к столу, поспешно отступаю. Сердце колотится. В слепящем сверкании ракет, среди развалин разрушенных снарядами прифронтовых деревень я почти забыл, что все это существует, что могут быть целые улицы мирной, укрывшейся за стенами жизни, где ковры, тепло и женщины. Мне хочется открыть дверь, войти и свернуться калачиком в мягком кресле, хочется погрузить свои руки в тепло, чтобы оно залило меня всего с головы до ног, хочется говорить без конца и в тихих глазах женщины растопить и забыть все жестокое, бурное, все прошлое, мне хочется уйти от него, сбросить его с себя, как грязное платье...

Свет в комнате гаснет. Бреду дальше. И ночь вдруг наполняется глухими зовами и неясными голосами, картинами прошлого, вопросами и ответами.

Я выхожу далеко за город и взбираюсь на вершину Клостерберга. Внизу, весь в серебре, раскинулся город. Луна отражается в реке. Башни словно парят в воздухе, и непостижимая тишина разлита кругом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.